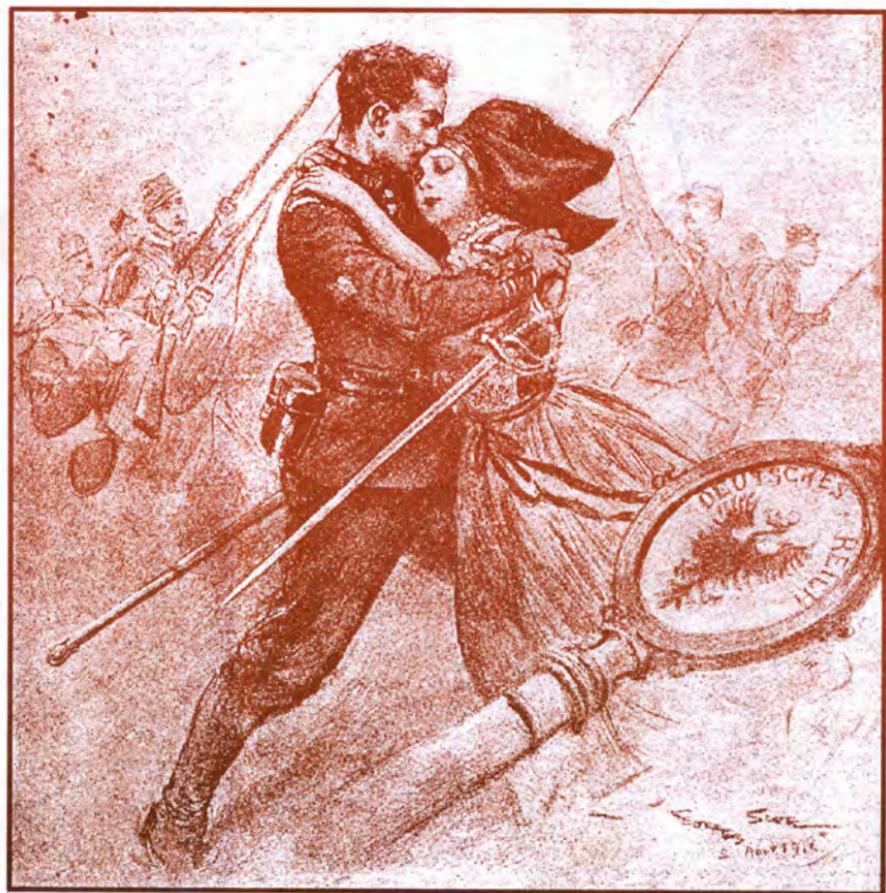


№ 4 РЕМ 2004

ЧЕ ШАН

Литераурно-художественный и краеведческий журнал



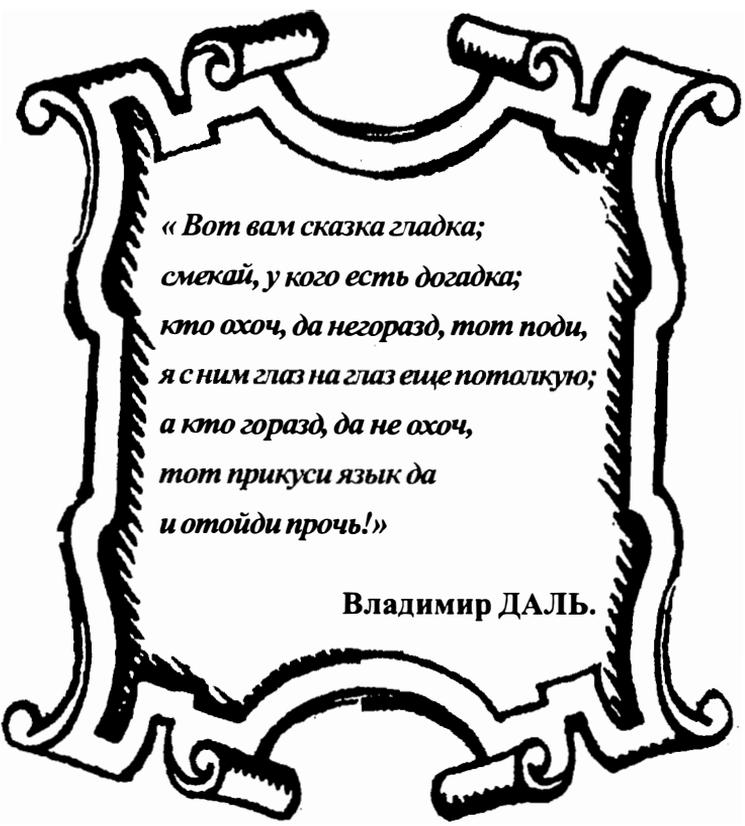


РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД БУДУЩИМ

Опал на землю первый лист осенний,
Затрепетали капли по ветвям:
Идет, идет-грядущее на смену.
Не выдержав морозца по корням...
Отсюда вывод: все мы торопились,
Откуда ветры дуют, не познав!
Листом осенним чаянья...накрылись,-
Рот залепился, правды не сказав!
Спать грядут подлейшие морозы?
Ну, сколько ж можно зиму выбирать!
Ну, сколько ж можно-под людские слезы,
Сезон обманов снова начинать?
Ах, осень, ты-предвестница разгула,
Страстей неистовых, гриппозности и гроз!
Чтоб в души ветром снова не надуло,-
Того, чем нам грозит опять мороз,-
Ярмо оброков сдюжить бы в предзимье,
Усталой клячей бы в пути не пасть:
Морозу-«Нет!», -скажи, чтоб не сквозило!
Морозу- «Нет!», - Скажи, чтоб не пропасть!

Осенний выпуск

Литературно-художественный и краеведческий журнал
Дмитровградского отделения Ульяновской писательской
организации Союза писателей России
(Издается с сентября 1998 г.)



*« Вот вам сказка гладка;
смекай, у кого есть догадка;
кто охоч, да негоразд, тот поди,
я с ним глаз на глаз еще потолкую;
а кто горазд, да не охоч,
тот прикуси язык да
и отойди прочь! »*

Владимир ДАЛЬ.

Редактор журнала Валерий Гордеев
Заместитель редактора журнала Сергей Слюняев

Над номером работали:
Фотохудожник: - **В.Зиновьев**
Дизайн и верстка - **А. Миронова**
Корректор - **Р.Соколова**
Компьютерная обработка снимков - **В.Стрючкова**

Спонсором нового проекта журнала "Черемшан" выступает ОАО "Димитровградский рынок".

Мы выражаем глубокую благодарность лично генеральному директору акционерного общества **Б.Д. Борисову**.



Лицензия: ЛР № 030267 от 7.05.97 г. Литфонда России

Редакция извещает о том, что с согласия авторов их произведения временно публикуются на безгонорарной основе.

© "Черемшан" 2004
ISBN 5-85658-028-1

Материалы журнала "Черемшан" размещены на страницах тольяттинского сервера в Интернете: "Toline". На сайте: www.catalog.toline.ru.



Адрес редакции: 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград,
ул. Юнг Северного флота, 107.

Сдано в набор 20.07.04. Подписано в печать 23.08.04. Формат 60x90/16. Печ. л. 7,0.

Печать офсетная. Тираж 300 экз. Заказ № 5333. **Цена свободная.**

Отпечатано в Димитровградской типографии: ул. Юнг Северного флота, 107.

ВЕСЕДЫ О ЛИТЕРАТУРЕ И НЕ ТОЛЬКО...

1. Какого Главу мы все потеряли?!

-Владимир Алексеевич, в 2000 году вышла в свет Ваша книга «В России нашей-мой Димитровград». И, хотя это - сугубо документальный очерк Главы города Паршина о нашем Мелекессе-Димитровграде, его истории, людях, социальном и экономическом развитии под Вашим руководством с 1992 года по век нынешний, - писательская организация «числит за собой» каждое такое издание...

Книга, о многом, насущном и сегодня, - посвящена землякам-димитровградцам. Но в необилии местной краеведческой литературы, - как бы - затерялась. Скажем, до сих пор об истории родного города учителя-ретрограды предпочитают «доносить» до молодежи по изданиям, скажем, М. Казанцевой - скучным, коммунизированным. Реже - по книге члена Союза писателей России - Ф. Касимова, - тоже не избежавшего фактических ошибок... А вот, книга ПАРШИНА, - совершенно точный, «фотографический», в реальном измерении, очерк, - игнорируется, привычными к демагогическим догмам образованцами! Так чем же для них «опасна» Ваша книга?

-Я не хочу «муссировать» эту острую тему. В 2001 году власть в городе резко переменилась. Люди сделали свой-иной-выбор, надеясь на большие блага. Хотя, расхождение в голосах между Паршиным и нынешним мэром, - не составило и 1000... Которых можно было бы просто купить!

Но дело не в этом. Выбор программы обучения-всегда принадлежит педагогам. Конечно, не без уточнения чиновников от администрации. Истина же, как ей и полагается, - лежит посередине.

Моя книга вышла накануне старта избирательной кампании. И я считал, если не противозаконным, - то-неэтичным, чтобы ее в тот период продавали или передавали массово в библиотеки, как агитационный ресурс Главы города. Конечно, треть тиража, не без помощи и писательской организации, попала в руки и педагогов. Но другая часть-хранится все еще у меня, как «авторское вознаграждение». И, если это будет затребованно заинтересованными лицами, - я безвозмездно передам эти книги-до востребования...

-Все мы-не дураки, - понимаем, что даже Глава города-Владимир Паршин- писатель в полном смысле этого. Но, общаясь с Вами долгое время, я поражался Вашему уровню интеллекта, масштабному видению проблем. Вашей высокой, но негромкой, грамотности. Чистоте помыслов. Понятию глубинных процессов в духовных подвижках общества. Даже открытая поддержка профессиональной организации городских писателей, открытие первыми в замирающем под ельцинизмом Поволжье литературного журнала, - дорогого стоили тогда Главе...

Поражался тому, чего «днем с огнем» не сыщешь в нынешних управленцах городских администраций. Чем «хромает» на межшколи Глава города... Скажите, это же не просто так? Значит Вас не зазомбировала «сопляковая восторженность» перед Интернетом, этим нищим по-мысли спрутом?

-Интернет и «мировая паутина» в информатике-дело хорошее. В части овладения информацией глобального масштаба-здесь и сейчас. Но не нужно забывать, что информация эта имеет и глобальную заданность... Кем-то и с определенной целью!

Потому - Интернет- это антипод классическому русскому образованию, знаниям и умениям, культуре, менталитету народа. Вы не найдете в «паутине» никаких сантиментов, душевных излияний, обобщений, философии, мудрости. Это просто телефон для названивания слов и сплетен, без ума, души и чувства. Считаю большой бедой то, что учителя разрешают ныне школьникам «подлеживать и шпаргалить» в Интернете, что снижает уровень знания предмета, его понятие.

Нет уже того, что несколько веков воспитывалось в людях русских. Когда всем, с молоком матерей, с примером и подвигом отчим, ставилась особая, духовно-возвышенная программа воспитания и понимания мира сего! Но, главное, что в нас закладывалось в мировосприятии-это величие русской литературы. Наша пища духовная. Наше Слово вещь, как средство не только общения, но и раздумий...

Потому, первое, что было отвергнуто нынешними «попрыгунчиками»-руководителями-это раздумие и чувствительность, то, чем они сами обделены Богом. У них зато, на вооружении-рациональность и сиюминутная выгода. Они-не думают о величии будущего, знамени прошлого. А любая агрессия заранее обречена на гибель в исторически-обозримом времени уже.

Я всегда любил много читать не с экрана, а с «чистого» листа одушевленной книги. Традиция уже, внутренняя потребность, -собеседовать с книгой, ее автором, вникать в суть вещей. Конечно, с возрастом, вкусы меняются. За плечами у меня интересная, но подорвавшая здоровье жизнь. Сиюминутные интересы, связанные с необходимостью принимать непопулярные, порой, решения, -сковывали мироосознание. Сегодня, отдыхая от этого, излечиваясь от порока власти, читаю романтические приключения петропых веков. Это романы Дюма и Жорж Санд, Герберта Уэлса и Проспера Мериме. А для «встряски» и понятного мне сердцебиения от встреч с юностью, временем суровым, -есть книги писателей-фронтовиков, реалистов и баталистов: Ю.-Бондарева, К. Симонова, В.Кондратьева, К.Воробьева, В.Астафьева.

«Народу нельзя легкомысленно обещать скорое и чудесное улучшение жизни. Врать нельзя. Следует не только говорить всю правду о трудностях, но и настраивать людей на терпение и труд...

Мы должны помнить, что поговорка: «После нас-хоть потоп!», - смертельно опасна. Думать о будущем поколении, о своей семье, доме, о том, какой город мы оставим детям, какое у них и у нашего города будущее, - главная задача дня сегодняшнего.»

2.В чью пользу эти сравнения?

В т.н.-официальной горгазете от 29.03.2003 года и от 25.10.2003 года, больно, зло, несправедливо «пнули вдогон»первого Главу города В.Паршина.Зададим вопрос: «Зачем?»-и, невольно склоняешься к одному-нынешний мэр перед перевыборами на всякий случай сводит счеты со своим все еще опасным соперником,благо теперь он-С.Морозов-входит в число учредителей «ДП».Значит не уверен в своих силах на новый срок?

С.Морозов не раз прилюдно (чему я свидетель) обвинял Паршина в сознательном разбазаривании горбюджета, в нечестности на руку...

В народе про такие дела говорят: «Мели, Емеля,-твоя неделя!»! Казалось бы, что бывший милиционер и юрист, обладая такими убийственными фактами и документами, должен был бы подвести «вороватого» Паршина под суд...

Эх, мало ли мы нынче знаем примеров, когда, то депутат Гдлян, то, вице-президент Руцкой-потрясали мифическими «чемоданами документов»по которым всех и вся пересажают мало! А воз тот и ныне-там...

Интересно, что вот уже 10 лет действующий в городе Независимый общественный центр социальных исследований (всегда дававший довольно точные и сбывающиеся прогнозы), показывает резко падающее доверие горожан к нынешнему мэру. И считает, что если бы выборы состоялись в августе текущего года, то лидировали бы в них Паршин, предприниматель Куренков, депутат горсовета Гавриленков .А С. Морозов не набрал бы более 20 процентов голосов избирателей...

Учитывая этот расклад, как реалии дня, можно проанализировать «грехи» бывшего и «заслуги» нынешнего мэров, чтобы получить реальную картинку - «выросло ли благосостояние горожан и улучшилась ли их жизнь за последние три года». И это будут реальные факты и цифры, а не «официальные восхваления» и иконоподобный лик Главы в его же газетах.

Странно, но при мэре-из органов,на первый план выходит именно «ментовская» проблема! Эта, и ранее-то малопочитаемая организация, сегодня допускает РОСТ преступности в городе.И наоборот,- совсем уж притупилась реакция милиционеров на сигналы граждан,их письменные обращения о правонарушениях.Иллюстрация тому - безутешные выводы и отчеты о преступности в городе даже в самой «мэрской»газете.

Массированный поток жалоб на бездушную работу паспортно-визовой службы, видимо, самую коррумпированную во всем МВД (судя по газетным и телематериалам в российских СМИ). В Димитровграде ширится число непризнанных гражданами России людей, но-инородцы, зачастую, не успев зарегистрироваться на наших рынках, уже получают это гражданство. А сколько тысяч димитровградцев из-за бюрократии в ПВС так и ходят пока беспаспортными. И, не по своей вине, став заложниками безграмотных и равнодушных паспортистов!

Ни на одну писательскую жалобу в ГУВД, даже на имя начальников -Березина и Федосеева мы ни разу не получили от них официального ответа! Ины-

ми словами, нарушая закон, руководители сами встают в ряды правонарушителей. Даже в канцелярии ГУВД, посмеиваясь, отвечали нам, что ответов не будет, в виду отсутствия у них конвертов и субсидий на их закупку. Жалуйтесь, мол, в МВД, может дадут денег на конверты...

Тогда и законный ответ будет? А как быть с тем, что писатель Осипов обнаружив на своей лестничной площадке толпу «ширяющихся» наркоманов, угрожающих добропорядочным гражданам расправой, когда те пытались урезонить хулиганов,-позволил в дежурную часть ГУВД с просьбой о присылке патруля, ибо из дома выйти было уже невозможно,- но услышал в ответ издевательский смех и увещевания, что молодежи в городе уж и отдохнуть, «оттянуться»-негде стало, вот когда убьют кого-то эти милые «ребятки», тогда милиция может быть и придет...

При милицейском мэре (ах, как не хочется верить, что «менты»наши давно уже срослись с урками и «крышуют» все разборки в том мире, получая свою мзду),-дошло до полного абсурда и оборотничества! Гражданка Республики Болгарии-Сивелова-приехала в Димитровград ухаживать за больной матерью.

Сестра, заподозрив в ней конкурентку, быстренько за определенную сумму оформила квартиру мамы на себя, стала выживать из дому зарубежную гостью. Однажды в квартире сестра привела милиционера и дюжих молодцев, которые избили болгарскую подданную, выкинули ее вещи, украли 400 долларов, и пригрозили, что раправятся с ней уже в «ментовке»...

Месяц искала правды и управы на оборотней в ГУВД Сивелова. Писала заявления, давала показания, составляла словесный портрет налетчиков, описывала удостоверение их главаря от ГУВД. В итоге - болгарку обвинили в том, что она оговаривает хороших людей, да так пригрозили, что женщина срочно покинула город, правда оставив заявление в посольстве. Теперь, с помощью хоть российского МИДА может будет у этой истории и сановников от ГУВД конец!

Скажите, возможно ли было подобное обращение с нами-своими налогоплательщиками оплачивающими наймитов и нахлебников в милицейских погонах,-четыре года назад? Нет! Паршин не давал им разгуляться вволю! А когда эти «содержанцы»стали нас, их хозяев неуважать и унижать, из органов без пенсионного содержания «выпунили» начальника ГУВД С. Морозова. «Ушли», чтобы он стал уже нашим мэром! Мстит нам, его хозяевам, теперь?

В адрес бывшего мэра от новой управленческой «бригады» слышатся самые нелепые обвинения: бюджет города был «нищ», и ремонт домов и кровли не велся, и коммуникации дырявые, и город захламлен, и дороги в дырах...

Да, Димитровград «паршиновского образца» никак не тянул на статус - шоу - «культурная столица»... Но, как ни нищ был наш бюджет,-ни одна кровля не рухнула, тепло, свет и горячая вода в домах были круглосуточно, а не по графику, не рвались каждый сезон коммуникации, ночами горели по улицам все светильники, а не только по праздникам. Даже морозовский фетиш-иллюминации - были!

Логичные сравнения, сделанного для димитровградцев раньше и теперь, показывают: -за 9 лет главенства В.Паршина был введен в строй и нам в городской оборот -6 новых улиц, а 12 улиц было заасфальтировано впервые в их истории.

- Гортеплосети получили большие производственные площади и работали рентабельно.

- На 90 процентов был отстроен и оснащен, разваленный ныне хирургический корпус МСЧ-65.

- Муниципальное (принадлежащее всем горожанам) имущество продавалось или передавалось в аренду только по самой крайней нужде и не было тогда затратным.

- Был введен в строй и оборудован городской промтоварный рынок, приносящий в казну города немалые доходы. В Москву был отправлен целый состав «Черемшан», снявший острую транспортную проблему города.

- Не было загублено или перепрофилировано ни одно памятное историческое место старого Мелекесса.

- Долги за теплоснабжение НИИАРом не росли, а погашались, реструктурировались.

- В высшей лиге России играли хоккейная команда «Черемшан» и баскетбольная «БСК-Димитровград». В первой лиге - футбольная «Лада». В городе хватало инвесторов и «нищего» бюджета на их содержание.

Что имеет Димитровград и горожане сегодня, спустя почти четыре года? За время правления С.Морозова мы получили:

- ни одной, заново покрытой асфальтом улицы, разбитые донельзя дороги и мосты, колдобины по центру культурной столыцы!

- Открытую с помпой улицу Кузнецова - аппендикс бывшего проулка между улицами М.Тореза и Гвардейской!

- Разоренный и, все еще не запущенный хирургический корпус!

- Уже сотню миллионов неплаченных долгов НИИАРу и веерные отключения горячей воды, света, тепла под мартовские морозы!

- Внешнего управляющего в обанкротившихся теплосетях. Общенародное имущество которых - котельные, подземные трассы, коллектора уже продаются без нашего спроса, принятыми нами управлять этим имуществом наемниками, кусками-по сотне метров - в частные руки разных иногородних хозяев!

- Уже по пальцам рук можно пересчитать оставшееся - в ИХ управлении-НАШЕ городское имущество, не распроданное пока с молотка! В «ход» идут не только рынки, магазины, дворцы и офисы, - даже ИХ резиденция - Дом Советов! А дыр в новом, морозовском, «продвинутом» бюджете - все больше...

Законен вопрос: в чьих же карманах оседают, вырученные за наше добро деньги?

В частных руках чужаков и иноверцев: промтоварный рынок, ставший в одночасье городу убыточным, магазины, кафе, причалы, автобусный парк.

Из целого эшелона «Черемшана» в Москву еле ходят 2 вагона, по ульяновскому распорядку, вновь без блата и взятку туда не купить билетов. В нарушение антимонопольного законодательства комитетом по имуществу распродаются без гласных торгов автобусные остановки. Стадионы. Спортзалы. Все, чем владеем мы, но «управляют» Морозов и Баранов...

- С ведома и «благословления» Морозова, поддержанного Церковью и т.н. коленопреклонными радетелями за сохранение старого Мелекесса, в т.ч.-

«писателями» -загублен уникальный «Марковский» парк.Теперь здесь по велению «лучшего директора» С.Михайлина, возникли «приватизаторские» (кто стал главным акционером «Димитровградхиммаша»? бетонные глыбы заводских никчемных в историческом плане, корпусов! Здесь сняты и «пропали» кованые решетки, ворота, ажуры, охраняемые государством. Окончательно опустошен детский сквер в центре города. С «молотка» пошли: Дворец творчества школьников, филиал Центральной библиотеки на площади. «Торжественное открытие» мемдоски в честь писателя А. Неверова устроили недоумки на здании, к которому в радиусе нескольких километров Неверов не имел никакого отношения!

- На торги выставлены помещения Краеведческого музея. Содрана, с ведома «продвинутого» мэра, старинная «марковская» брусчатка с ул.им. Гагарина, которую покрыли «мэрской» плиткой. За чей счет? Так и есть!

Пьяный разгул по «разливным» в романтической улице, подается нам, как «музейный розлив» нашего светлого прошлого!

Что же касаясь настоящего профессионального искусства, то здесь еще прощай! Влачет жалкое существование на непрофессиональной, а спонсорской основе хоккейный «Черемшан». Успешно «похоронен» великолепный баскетбол.

«Хоронят» футбольную «Ладу-СОК» частные, футбольно «кастрированные» люди. Дворец спорта «Дельфин», бывший пловцовской гордостью города,-превращен в еще одно торжище, став «разменной монетой» в допинговой игре пришлых людишек, замахнувших своими нечистыми руками на ДК «Строитель», библиотеку НИИАРа, НКЦ...

Предметом торга наймита С.Морозова стали Музыкальное училище, телевидение Димитровграда, газеты, журналы. И это при декларировании его «продвинутого» бюджета? Тогда, мы вправе спросить:куда ж ты, ...сын народа, дел все народное добро?

- Ждите ответа...

Срамная столица в Поволжье,-это тоже придумка тех же «продвинутых». Нам от их политики обеспамятливания нации под руководством С.Кириенко (Израиля), остается только аплодировать содеянному.

Владимир Алексеевич,- как стало возможным, что законодатели, наши депутаты, пошли на поводу у «ставленников»- морозовцев в деле полного уничтожения профессиональных литературы, искусства, спорта, театра?

- *Действительно, назрел вопрос и к законодателям: почему профессиональное искусство и литература подавлены исполнительными властями, подменяются разными шарлатанными культурмассовиками. Что-упало ответственное развитие жителей города? Их образованность превратилась во что-то постыдное,купленное за деньги? Души отверзлись дьявольщине? Американизму? При «слабоинтеллектуальной», как принято ныне витийствовать, бывшей горадминистрации, на европейском уровне высоко ценили наших профессионалов из «Юности», «Модерн-балета», хоровой капеллы, ансамбля скрипачей, потому, что мы исповедовали истинные мировые ценности, культуру общечеловеческую. А сегодня на торгах уникальное в Поволжье Димитровградское музучилище! Погром в Димитровге-*

радском отделении Союза писателей России. Погром всего книгоиздательского дела, в чем город всегда был примером в Центральной России. Погром классического репертуара в драмтеатре, превращение его и профессионалов в порнографическое шоу. Разгромлен детский театр «Бим-Бом». Жажда наживы обуяла владельцев здания театра «Подиум».

С городской авансцены уходят в небытие последние профессионалы. Покидают город. Будут истрачивать свои таланты в вынужденной «эмиграции».

Конечно, огромна доля вины здесь депутатов, народных избранников, поставленных следить за радением во благо всех горожан... Но, как и в любом Совете или Законодательном органе, у нас есть свое лобби чьих-то личных интересов. Кому-то очень удобен и Глава города с его завиральными идеями. Не кривя душой, скажу, что незыблемые нравственные ценности в Горсовете при голосовании отстаивает только малая группа настоящих НАРОДНЫХ заступников. Это - С. Т. Морозов, В. Гавриленков, Е. Бойцов, иногда поддерживающие нас К. Долинин и Ю. Руднев. Большинство же - проморозовских депутатов, решения принимают по собственным понятиям, оттого не выполнено ни одно их торжественное перед выборами обещание людям, доверившимся им: говорили - будете жить при нас - лучше, богаче, товары сделаем дешевле, тарифы-ниже! И что? Горсовет, уполномоченных димитровградцами депутатов отстаивать права всех горожан, не принял ни ОДНОГО решения, облегчающего жизнь людей, не остановил роста ни ОДНОЙ тарифной ставки, не улучшил жизнь нашу ни на ОДНУ копейку! Только все в сторону ПОВЫШЕНИЯ поборов с населения. А это уже продуманная политика по разорению города и его жителей!

Власти играют на самых низменных инстинктах димитровградцев: числа своих избирателей тупыми животными: устраиваются всегородские попойки, спаивание молодежи. Малообразованные люди управляют «искусствами»-приплясками, припевками, дурацким юмором, безнравственными шоу, которые исполняют необразованные классически всякие «Конфетти», «Колибри», «Гармоники», «Апрели» и прочие, прочие...

- Хотя, сказано резко, но по-делу. Здесь останется только посетовать, что подлинно-народное самодетельное и нравственное искусство уходит... в Мелекесский район. Перемещается ближе к «земле» русской. Туда уходит из города подлинная русская литература и молодые таланты, хоры и танцевальные ансамбли, исполнители, актеры, музыканты, краеведы...

- Не есть ли это полый крах игры в «культурную столицу»? Где умирает ум, честь, достоинство и интеллект нации, города ученых и образованных людей? Мне это очень напоминает выполнение задачи «мировой закулисы» с которой плотно сотрудничает Поволжский полпред. Лишение нас национальной памяти и самобытности, очень выгодно «общечеловекам», уничтожающим сегодня и единственные памятники человеческой цивилизации, и целый древний народ в Ираке! Каратели и их «шестерки» даже в Димитровграде, кучка воров с миллионами баксов на счетах, пытаются управлять миллиардами людей с помощью зомбирования нашего сознания, «замарафетив» наших

детей придуманным ими «ширевом», пивными дрожжами, бесовщиной.

На днях был телесюжет из Нижнего Новгорода, где раскрыта еще одна финансовая пирамида, где людей опаивали психотропами, используя высокочастотные технологии и «эффект 25-го кадра,» - зомбировали под музыкальную кабафонию, шел съем денег! Фирма «Меркурий» действовала под «крышей» Кириенко...

В кутьурной столице проморозовские образованцы, специально нарушая закон, разжигая национальную рознь на «ровном месте», закрывают детские дошкольно-воспитательные учреждения, школы, создают тысячные очереди в детсады, чего никогда небыло в нашем городе, собирают незаконные побо-ры -вступительные взносы даже в ясли - до12000 рублей... Из какой же это оперы? Все из той же, либретто к которой писано С. Морозовым!

Недавно одна из немногих уцелевших и неподконтрольных мэрии газет очень точно определила: Главой города не может быть - НАРКОМАН, АЛКОГО-ЛИК И ГОМОСЕКСУАЛИСТ! Я бы добавил, имея в виду не только этих... но и их «бригаду» в «Белом Доме» - нами не должны управлять и нас разорять еще: ШИЗОФРЕНИКИ, ВОРЫ, БЕЗДАРИ И ПЕДОФИЛЫ! Вот тогда, скорее все-го, мы сможем многое сохранить, преумножить и сделать. Как Вы считаете?

- Мне нравится, как сказал великий татарский поэт Габдулла Тукай:

- «Я воскликнул: а ведь верно, воры, видно, мастаки:

Не оставили поэту ни одной живой строки...»

А потом, уверовав в будущее, добавил мудро:

- «У гусей очень белые крылья.

У людей кони смелые - крылья.

У детей, посещающих школу,

Вырастают умелые крылья...»

Так же, как и все здравомыслящие люди, я считаю, что дети наши обяза-тельно пойдут в настоящие школы, мы все стали мудрее за эти годы, во многом разобрались, у нас окрепли крылья в борьбе с неожиданным нена-стьем и мы подобной камарильи больше не допустим. Пороки - не наш путь, Димитровград достоин иного. Но, помним, что от избирателей зависит толь-ко формальный, арифместический выбор. Увы, в России законы, регламен-тирующие нормы человеческой порядочности и характера кандидата в главы чего-либо, не предусматривают его гласного отчета и освидетель-ствования на здоровье, преступные наклонности, извращения.

Оттого мэром, либо президентом ПОКА может стать и педофил, и нар-коман, и просто урка. Очень надеюсь, что ПОКА! Думаю, исторически и это преодолимо. Тем более в таком умном и порядочном ПОКА городе, как наш.



Беседе проводил Редактор журнала В.Гордеев.

Война, в которой погибла Россия.

*Война! Война! Так вот какие
Отверзлись двери перед тобой
Любвеобильная Россия,
Страна с христовою судьбой!
Так прими ж венец терновый
И в ад убийственный сойди.
В руке с мечем своим суровым,
С крестом, сияющим в груди!
Прости несжатый мирный колос!
Земля родимая, прости!
Самой судьбы громовый голос
Зовет Россию в бой идти.
Не празден будет подвиг бранный,
В крови родится новый век,
И к пашне славой осиянный,
вернется русский человек*
Сергей Городецкий.

I. Должна была бы Россия погибнуть?

Мелекесс.

К 1900 году, т.е. началу XX века посад имел: капитала (без профицита бюджета) – 340000 руб.

К 1914 году: 18 крупных предприятий губернского значения; оборот товаров, с отчислением в посадский бюджет – 3000000руб.; 2 банка; казначейство; все это на 15000человек...

Продукция мелекесских предпринимателей поставлялась во все крупные населенные пункты Волго-Камского региона, Москву и Санкт-Петербург; конкурировала с товарами европейских производителей на Европейских ярмарках в Цюрихе, Стокгольме, Лозанне, Женеве, Берлине...

Россия.

Страна, родина многих народов. Империя – имела 167 млн. душ, в т.ч. 109 млн. русских или 2/3 всего населения.

Сословный (избирательно доступный) слой в России составлял: на 1000 душ – приходилось 771 крестьянин, 107 мещан, 66 инородцев, 23 казака, 15 дворян, 5 священнослужителей, 5 почетных граждан и 8 прочих.

На 1914год производство русского главного вида зерновых культур превышало на 28% таковое – Аргентины, Канады и США вместе взятых; в 1912-м году русский экспорт зерна составлял 968,7 миллиона пудов, на сумму свыше миллиарда рублей золотом; за 15 лет XX века поголовье лошадей увеличилось на 37%, крупно рогатого скота на 63%, добыча каменного угля возросла на 306%, нефти на 65%, золота на 43%, меди на 375%, хлопка на 388%, сельхозмашин на 744%, других машин на 400%; удвоился морской флот России; в действии было 81 тыс. километров железных дорог; русские налоги были самыми низкими в мире; ежегодно открывалось около 10000 школ.

К 1914 году Россия лидировала в мире по сталелитейному производству, выращиванию хлеба, добычи меди, никеля, молибдена, строительству дорог, уровню заработной платы...

В этом и кроется ответ на вопрос – “Должна ли была Россия погибнуть?”

Если бы не было повода втянуть Русскую Империю в Мировую войну, - западному капиталу пришлось бы срочно такой повод придумывать. Ибо: еще пятилетие такого мирного, наступательного, прогрессивно-технологического развития, - Россия попросту бы экономически аннексировала Европу, разорив ее финансовых воротил!

Вот-та главная причина, по которой разыгран сценарий Мировой бойни, из нее уже ни Россия, ни ее Монарший дом не смогли выйти победителями...



*На снимках:
1914 г. - так в тылу собирали белье и одежду для фронта, упаковывали, везли в действующую армию...*



II. Всегда... сербы?

Бесстрастная историческая статистика гласит: с 1055 по 1462 годы было совершенно 245 нашествий на Русь ее врагами. С 1240-го по 1462-й годы Русь выдержала 200 войн – т.е. почти ежегодно нам приходилось отбиваться от разных посягательств на наши земли...

С XV века – времени возрождения Русского государства – до 2004 года (около 500 лет) – Россия участвовала в 330 войнах! Если же взять период от Куликовской битвы – до заключения Брестского мира, то окажется, что мы 334 года жили в беспрестанных войнах: с Польшей было 10 войн (за 64 года), со Швецией – 8 (за 81 год), с Турцией – 12 (за 48 лет), с Литвой – 5 (за 55 лет), с Францией – 4 (за 10 лет), с Крымом – 8 (за 37 лет), Персией – 4 (за 28 лет), с монголами – 7 (за 130 лет), с Хивой – 4 (за 6 лет), с Кавказом – 3 (за 15 лет), с Австрией, Австро-Венгрией и Германией по разу в 4 года...

И здесь я бы особенно выделил войны с Турцией, Крымом и Германией, где так или иначе русские войска шли на помощь братскому славянскому народу сербов и черногорцев. Так, или иначе, “нерв” боевых действий сходил на узлу противоречий, крохотной территории под именем Босния и Герцеговина...

Нам хорошо памятли недавние годы гражданской войны в распадающейся Югославской республике, где опять таки самым уязвимым местом стала Босния и Герцеговина – местечко в котором нет своей “боснийской” народности: здесь - 45% сербы, 23% - хорваты и 25% - албанцы и турки, есть люди, исповедующие ислам (выходцы из сербов или хорватов), но называющие себя боснийцами...

Естественно, место, где перемешены прежде всего национально-религиозные воззрения (православные сербы, католики хорваты и мусульмане), где сосредоточены запасы железной руды (до 50% Югославии), столько же энергетических мощностей, 95% добычи всей Югославской руды, марганца, бурых углей, лигнитов и каменной соли, бокситов, а в сельском хозяйстве – табака и винограда, - не может не быть предметом раздора не только балканских государств, но и Европейских крупных империй.

И только интересы России в этом “нервном узле” носили всегда чисто политико-этнических характер.

Но, как бы то ни было, и за такой “гуманитарный” интерес Россия и ее монархи ввязывались в войны 5 раз! Екатерина II-ая в 1774-м и 1787-м годах. Николай-I в 1853-м., Александр II в 1877-м, Александр III в 1885-м, Николай II в 1914-м...

Об одном интересе России к узлу на Балканах мы сказали. Но здесь следует отметить, что существуют и некоторые личностные “монаршьи” интересы. Например, накануне Первой мировой войны, лидер военной партии в России великий князь Николай Николаевич (дядя царя) был женат на царевне Анастасии – дочери Черногорского князя. Свои родственные интересы здесь имели и начальник Русского генштаба Н.Н. Янушкевич и русский аташе в Белграде – полковник В.А. Артамонов и его заместитель А.И. Верховский (ставший позднее военным министром в правительстве Керенского).

Возвращаясь к истокам Первой мировой войны, (которую в России долгое время называли “отечественной”), нужно представить ту обстановку, которая сложилась в мире с 1909 года. Войны – локальные и межрегиональные не

утихавшие на всех континентах, заставляли мощные империи и республики производить самые серьезные приготовления к войне мировой, за свои интересы.

В 1909 – междоусобица в Турции. 1910 – беспорядки и боевые действия в Португалии. 1911.– 12 гг. – революция в Китае. Итальяно-Турецкий конфликт вблизи границ Сербии. 1913 г. – беспорядки в Китае. Война Греции с турками (и опять у границ Сербии). Беспорядки в Македонии, ЮАР, Албании...

Год 1914-й не принес утешения и умиротворения. Начались беспорядки (ныне ставшие традиционными) в Ирландии. Разразилось сразу два марокканских кризиса и столько же на Балканах, куда были втянуты Турция, Албания, Франция и Австро-Венгрия... Еще в декабре 1913 года член Госсовета Российской империи П.Н.Дурново пишет свою знаменитую аналитическую записку на имя императора Николая II, где говорит о неизбежности Мировой войны и предостерегает монарха от вступления в нее, ибо, считает он, - это равносильно гибели России...

28 июля 1914 года рушится хрупкое двуединое управление Боснией и Герцеговиной монаршими домами Габсбургов и Карагеоргиевичей...

Созданные друг за другом радикальные националистические организации боснийских сербов “Народна Обрана”, “Уединенье или смерть”, “Черная рука” (под руководством начальника разведки сербского генштаба Драгутина Дмитриевича – “Апис”), - студенческое общество демократической молодежи “Свобода”. – одновременно начинают решать задачу о значимом теракте, могущим стать началом большой войны...

В Видов день – в день освободительной для сербов исторической Косовской битвы – Чабранович бросает бомбу в свитский кортеж эрцгерцога Франца Фердинанда. Неудачно... Взрыв только вызывает панику на улицах Сараево – столицы Боснии...

Точными выстрелами из пистолета в тело монарха Австро-Венгрии довершает дело18-ти летний студент Гаврила Перинцип. Конечно, террористы были схвачены, расследование длилось десятилетие. Но истинные мотивы и подоплеку этой акции, ставшей первопричиной Мировой войны, - не вскрыты точно и сегодня. Был уничтожен один из террористов Богдан Жербич. Данило Илич, Владимир Гачинович и Гаврила Принцип в судебном процессе показали, что кроме оружия, бомб, специальной подготовки в стрельбе, в их арсенале был и ... цианистый калий... Принцип кончает самоубийством. Погибают, заметающие следы помощники “Аписа” и организаторы теракта Цыганович и Танкосич. Сам “Апис” расстрелян 26 июня 1917года...

Остаются только их обрывочные свидетельства о том, что тот зловещий для мировой истории, а для России самоубийственный теракт, готовился прежде всего под руководством таких деятелей российской Социал-демократической партии, как Натансон, Мартов, Луначарский, Троцкий, “Серж”, Радек, проживавших в эмиграции и ведущих русофобскую политику на деньги германского и американского капитала...

Г. Принцип (из речи на судебном процессе): “Масоны в Европе уже в 1913году постановили: убить эрцгерцога!”

К. Радек (на процессе 1937 года): “Если бы я скрыл эту правду (о событиях, предшествующих выстрелу в Сараево), ушел с ней из жизни, как ... Зиновьев и Мрачковский... то в момент смерти я слышал бы проклятия, людей которые погибнут в будущей войне...”

Граф Э. Роветлов: "... все выдающиеся личности, частично и правители стран, сражавшихся против центральных держав, были масоны 33-й степени по шотландской иерархии с центрами в Англии и САСШ"...

Но – главное предостережение прозвучало от... убиенного эрцгерцога.

Франц-Фердинанд: "Я – никогда не поведу войну – против России. Я пожертвую всем, чтобы война между Австрией и Россией закончилась бы или свержением Романовых, или Габсбургов, или, может быть, свержением обеих династий."

Войны с Россией надо избежать потому, что Франция к ней подстрекает, особенно французские масоны и антимонархисты, которые стремятся вызвать революцию, чтобы свергнуть монархов с их тронов".

Так, большая политика и амбиции социал-демократов, совпав с интересами капитала во Франции, Германии, САСШ, – стали предметом мировой бойни, втянувшей в себя более 25-ти государств. А точкой отправления "туда – вновь стала Сербия".

III. Россия: губернии, уезды – далее везде!

По сути, - война Австро-Венгрией России была объявлена еще в июне 1914-го. Но произошла 27 июля 1914 года, когда австро-венгерские войска, перейдя Дунай, блокировали уже столицу Сербии – Белград.

Призыв в России касался только ПРАВОСЛАВНОГО населения в возрасте – от 19 до 43 лет. Притом указ Императора только ПРЕДЛАГАЛ мобилизуемым, в течении 3-х дней зарегистрироваться в мобпунктах (уездных). Правда, как всегда на Руси, действовало распоряжение – всем, кто избегает армейской службы – приговор один: смертная казнь!

Подобный призыв не означал вовсе, что все мобилизованные и совершенно необученные люди завтра же займут свое место в окопах на передовой...

В действующую армию направлялись только кадровые части боевого состава и окончившие временные армейские школы прапорщиков в ПРИФРОНТОВОЙ полосе, выпускники полного курса Павловского, Александровского, Алексеевского, Михайловского, Николаевского военных училищ, юнкеров, на правах вольноопределяющихся (студенты вузов), окончившие 4-х месячные курсы по первому разряду...

Рядовой состав из мобилизованных – проходил службу и подготовку в течении полугода в запасных ротах и полках третьего эшелона. В нашей местности такие части были в Самаре, Инзе, Сызрани, Симбирске.

Но – народ хорошо понимал, что за полгода тыловой подготовки – ТАКАЯ война не кончится. Потому, в Мелекесе, провожая призывников даже в запасные полки, - выли в голос! Предполагая, что, возможно, ушедшие уже никогда не вернуться...

Самой популярной, почему-то, в те времена была песня волонтеров: "На Берлин! На Берлин!", - хотя Германия еще не вступила в боевую конфронтацию России.

Под балалаечный бой на мобпунктах в Мелекесе слышались частушки:

**Что это такое?
Сразу три набора!
Взяли брата и отца,
Берут ухажера!**

**Я под мерку становился,
Мерку – вышиб головой.
Мне начальники сказали:
- Ты – солдатик рядовой...**

Распроклятая машина куда милого стащила!
Распроклятый тот вокзал, куда милого девал,
Что мне раньше не сказал?
Распроклятый паровоз, куда милого увез?
У машины шесть колес,
Машинист там – старый пес!

Гудит колокол соборный
На чужой на стороне...
А мальчишечка проворный –
Пишет к милой ко жене.
Пишет он цидулю.
Про вражью пулю.
И про пулю, и про штык,
Про немецкий про язык...



Сон оккупанта...

*На нижнем снимке:
первая фронтовая
награда...*



В Мелекесе рекрутов провожали возле будки на “железке”, ибо само здание вокзала будет достроено только через год (с отоплением и вентиляцией, сохранившееся на сегодня).

Из 15200 жителей города призыву подлежала только молодежь из 13200 жителей православного исповедания. 2000 татар-магометан, как и все мусульманское и инородное население Российской империи в действующую армию в 1914 году не брали из-за их “национальной отсталости и неблагонадежности”.

Посад Мелекес имел в ту пору площадь в 200 десятин и 20-ти верстовую протяженность всех улиц. Но, как одно из образцово-экономических поселений России имел дощатые тротуары, булыжные мостовые, сточные канавы, газовые фонари, а к 1915-му электроосвещение!

Посад был знаменит благоустроенными улицами, где на перекрестках стояли красные пожарные чаны с водой и песком, где были электрические фонари, где набережная реки Мелекески представляла собой удобный для прогулок бульвар, на котором были убранны старые мостки, засажены редкими породами деревьев берега, запрещена стирка белья мешанам.

В 1914 году глава посада К.Г. Марков от имени всех жителей посада обратился к Николаю II с верноподданнейшей просьбой: переименовать посад Мелекес в город Алексеевск – в честь царевича Алексея. Но война прервала эту знаменитейшую переписку и городок наш, так и остался Мелекесом. Как бы хорошо и правильно было бы сегодня из Димитровграда, - в честь не болгарского, чужого всем нам террориста, – переименовать бы город – в исконно русское, монаршее, традиционное имя – Алексеевск!

Сегодня, даже с помощью исторических архивов и не вспомнить сколько же - купцов, крестьян, мешан было призвано из Мелекеса в армию в 1914 году? Если судить по среднестатистическим данным по провинциальной России, - то не менее 2000 человек, или около двух полков полного состава.

Но Мелекес был городом и не входящим в прифронтовую полосу. Оттого наши предки, как и вся коренная Россия, называвшаяся – тылом – помогали боевым армиям тем, что могли произвести.

В Мелекесской волости тогда работали – посадский химзавод (бывшее производство П. Марковой), льно-прядельная, ткацкая мануфактура, три суконных фабрики, четыре кожевенных завода, 11 сыромятен, поташный завод, 2 тулупных заведения, 12 валяльных мастерских, мукомольные предприятия, продуктовые цеха и т.д.

К приему беженцев из западных областей, больных, сирот и раненых были подготовлены в посаде Мелекесе – уездное отделение комитета попечительства, две больницы и аптеки, капитал 200 коммерческих предприятий, 1670 дворов и домов в Причеремшане.

Я попытался обобщить общие потери жителей в период первой Мировой войны, - и споткнулся о неразрешимую задачу - таких данных в открытой печати НЕТ! Приходится приблизительно суммировать то, что еще можно вывести из сумм потерь в различных операциях. Но – и там цифры достаточно ужасающие: через год после официального объявления войны против России, - против наших 1 млн. 732 тысяч штыков, - со стороны врага, объединено сражались: 116 пехотных и 24 кавалерийских дивизии.

В начале 1915 г. потери немцев только в боях во Франции и Польше составили – 950 тыс. убитых и раненых, пленными – 757 тыс. человек.

В Галицийской битве в 1914 г. Австро-Венгрия потеряла 400 тыс. человек, из них 100.000 пленными. Российская армия, действовавшая Юго-Западным фронтом, под руководством генералов Иванова, затем Брусилова, потеряла

за тот же период – 230 тыс. солдат.

В августе 15-го германо-австрийские войска вошли на территорию Литвы, Белоруссии. И, хотя против группировки русских войск в 1,7 млн. человек действовало чуть более 1 млн. солдат противника, - три четверти войск Русской армии погубло, утопло и было пленено в Мазурских болотах, которые они пытались форсировать по приказу “русского” командующего, генерала Ранненкампа... Это было классическое “кольцо” с истреблением всех, кто пытался из него “выболотиться”.

Но интересует нас, мелекесцев, главное, как мы помогли снабжать фронт тем, что могли сделать сами!

Первое. Свою лепту мелекесские крестьяне и кожевники внесли уже к 1915 году. Из официальных сводок известно, что на фронт было поставленно 86 миллионов пар сапог и ботинок. На этот же период в армию было призвано 16 миллионов человек. Вопрос о том, куда делось 80% этой обуви – до сих пор не имеет ответа.

Говорилось о том, что солдаты сами торгуют обмундированием... однако, пойманный за этим делом, по приказу главковерха подвергался битию плетью до ... 50 раз!

Это кто же мог рискнуть “своей шкурой” ради копеечной наживы?!

Данные факты лежат в разряде других иных “необъяснимых” вещей: на фронте хронически нехватало боеприпасов, снарядов, противогазов. В то же время тыловые склады, в т.ч. в Мелекесе, “ломались” от этого “добра”.

Уинстон Черчилль сказанул в то время фразу, которая лучше всего определила наше состояние: “... ни к одной нации рок не был так беспощаден, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду, она уже претерпела бурю, когда наступила гибель.”

Тыловая Россия - в том числе и наш Мелекес – напрягая все силы, поставляла на фронт: продукты, мануфактуру, обувь, полушубки, порох, химснаряды, запчасти... Мы надрывались!

А в то же время: правительство России инвестировало в САСШ (США) один миллиард восемьсот миллионов золотых рублей. Россия просила фирму “Винчестер” – произвести – 300000 винтовок. Фирмы “Ремингтон” и “Вестингауз” - 3,3 млн. винтовок. Договора были подписаны. Обязательства взяты. Их выполнила только фирма “Винчестер”. “Ремингтон” и “Вестингауз”, отдав 1/3 заказа, до сего дня должны нам за эти инвестиции.

Большим подспорьем армии в тылу было создание разных благотворительных обществ – целой системы территориальных органов, ответственных за сбор средств, обеспечение реабилитации больных и раненых воинов. В посаде Мелекес в то время работал филиал Всероссийского земского и городского союза помощи больным и раненым (РОКК). Молодежь с энтузиазмом в ступала в общество Красного Креста, девушки – поголовно – записывались на курсы сестер милосердия. Были организованы врачебно-питательные пункты.

Как и во всей Империи – лучшие и знатные люди стремились своим личным примером вовлекать сограждан в эту работу. Пропаганда часто описывала участие всех женщин дома Романовых, начиная с императрицы и великих княжен, в сборе средств на медикаменты, работе в госпиталях и даже санитарных поездах. В Киево-Покровском женском монастыре, в прифронтовом лазарете Пскова трудились сестрами милосердия Мария Павловна, великие княгини Елизавета Маврикиевна, Милица Николаевна, Анастасия Николаевна, Марина Петровна, Надежда Петровна, Елена Георгиевна. О семьях при-

званных в солдаты заботился специальный фонд под патронажем сестры императрицы Александры Федоровны – Елизаветы.

В провинциальной России этими же благородными делами занимались не только князья или дворяне – типа князя Г. Каралова или княгини С. Волконской, а уездные и посадские комитеты, куда входили священники, учителя, студенты и гимназисты, купчихи. Все они занимались стиркой и дезинфекцией белья, дерганием корпии, пошивом одежды, создавали аптечные склады, всем чем могли поддерживали работу “Совбежа”, участвуя в налаживании жизни в лагерях беженцев.

Это хорошо видно на примере прифронтового городка Двинска (ныне Даугавпилс в Латвии), который чем-то очень походил на наш посад. Народу здесь жило, правда, около 100000 человек и 45% составляли евреи. В Двинске была своя “Красная церковь”, как и в Мелекесе – Святого Александра Невского храм!



Снимок вверху:

На марше - Господи, спаси и сохрани!

Внизу - редкий снимок с первого Всероссийского съезда Голов гор-родов и посадов Империи. В этом зале присутствует и Мелекесский Голова К.Г. Марков...



В 1915 году мощное наступление немцев сдвинуло фронт под самый Двинск. Город подвергся ожесточенной бомбардировке, горел, на храмах звонили все колокола, казалось, сдача города - неизбежна.

Однако, старый русский генерал Плеве, командующий 5-й армией, не оставил свой командный пункт, заявив: "Пока я в Двинске, - ни шагу назад!" Под прикрытием редущих войск из Двинска шла эвакуация населения. Однако евреи не спешили, ибо праздновали свой Швусс... Для их эвакуации понадобился специальный приказ императора, обязующий еврейское население покинуть не только Двинск, но и Латвию. Проезд к месту сбора в специальных лагерях "Совбежа" был бесплатным, оплачивали только провоз багажа, бесплатно кормили в дороге и местах временного размещения.

Пишу подробно об этом потому, что некоторая часть двинцев прибыла и в наш посад, став со временем мелекессцами. А родной их город, Плеве так и не сдал немцам. На выручку 5 армии пришли батальоны "кавказцев" (переброшенные с Кавказа казачьи части). Они, покидая машины и вагоны, - с ходу шли в окопы на позиции, контратакуя противника. О тех днях и подвигах в Первую мировую, сегодня говорят лишь заброшенные многочисленные воинские кладбища вокруг Даугавпилса, из которого было эвакуировано 3/4 населения.

Но была и обратная сторона этих военно-тыловых благообразных "картинок". Поскольку фронт требовал все новых ресурсов, на заводах, фабриках, в мастерских хозяева увеличивали нормы выработки продукции, удлиняя в связи с военным положением рабочий день. Внося большие суммы в благотворительные фонды и, неся убытки на военно-государственных заказах, заводчики, купцы и даже лавочники "по-справедливости" перекладывали эти расходы на плечи рабочих, снижая их заработки. Все это не могло не вызвать протеста. Недовольством масс тыловой России не замедлили воспользоваться социал-демократы всех мастей. Одни из них в тылу, другие, призванные в армию - на фронте, третьи - "ленинцы" - в эмиграции, с территории вражеской, - усилили поражеческую работу в народе. Естественно, растление это совершалось на "немецкие" деньги, Генштаб Германии не мог не использовать данный фактор в борьбе с Российской Империей.

Уже в 1916 году на самой "недовольной" - Мелекесской льно-прядильной и ткацкой мануфактуре была организована ячейка РСДРП(б). Взгляды посадских социал-демократов поддерживали все ткачи уезда, все мукомольщики и даже - поддерживающие эсеров - крестьяне.

Так близился закат монархии.

IV. Фронтовые дела.

Убиенный в Сараеве эрцгерцог Франц-Фердинанд был мудрым человеком. Он не устал повторять: "Война с Россией означала бы наш конец. Если мы предпримем что-нибудь против Сербии, Россия встанет на ее сторону, и тогда мы должны будем воевать с русскими. Австрийский и русский императоры не должны сталкивать друг друга с престола и открывать путь революции". Именно за такое четкое понимание обстановки его и приговорили к смерти мasonry.

Итог - вам уже известен. Война не только обескровила и опрокинула народы Европы, в ее результате - с карты мира навсегда исчезли две могущественные империи: Русская и Австро-Венгерская. Рухнул Русский монарший престол.

Многие бедны во многих ошибках. Ошибки эти следовали чередой даже в условиях ведения боевых действий. Войну с Австро-Венгрией и Германией Россия начала, имея в своем командном составе многих генералов не только

Герои и жертвы войны.



Ген.-лейт. В. И. Балгарь,
убитый в бою.



Ген.-м. Н. И. Дружанин,
убитый в бою.



Ген.-м. Д. Д. Федченко,
убитый от удара.



Подполковник И. П. Линда,
убитый в бою.



Подполковник В. В. Нерва,
убитый в бою.



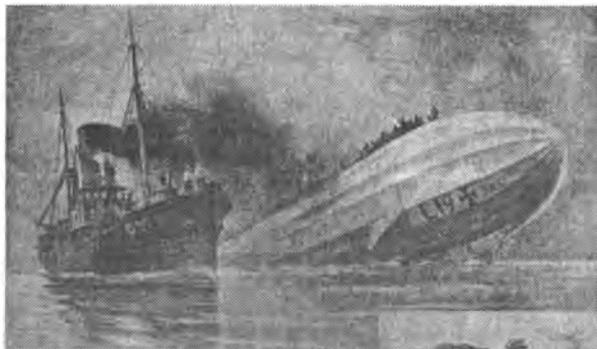
Подполковник Н. М. Поморинь,
убитый в бою.



Подполковник А. Г. Мухомов,
убитый в бою.



Корнетъ Д. С. Курьяков,
убитый в бою.



Редкий снимок гибели цеппелина в водах Балтийского моря...

И так гибли, - попав под немецкий артобстрел...



немцев или австрийцев по национальности, но и католического и лютеранского вероисповедания.

Генерал Ранненкампф, глава Двинского гарнизона – фон дер Остен Дрезден, командир Островского полка Флейшер, командир Юровского полка – барон Гетрович...

Многие немцы или сочувствующие находились на службе в интендантстве, тыловых учреждениях, всячески тормозя поставки необходимого фронту. Генерал А. Брусилов со всей прямотой на докладе в ставке назвал это "хаосом и национальной изменой". В мае 1916-го болезненный резонанс в России вызвал приказ Брусилова об аресте в Киеве группы сахарозаводчиков и сионистов – Бабушкина, Доброго и Хепнера. Но военно-полевой трибунал доказал, что российские подданные не только грабили казну государства, но и поставляли сахар немцам эшелонами, несмотря на линию фронта... Приговоренных к высшей мере наказания – расстрелу, - спас от смерти и "отмазал" перед Императором Григорий Распутин!

В этом плане интересна стенограмма допроса начальника немецкой разведки Вальтера Николаи, который открыто заявил, что – "насаждением агентуры против русских непосредственно занимались следующие офицеры, подчиненного мне русского отделения: в Кенигсберге – майор Гемпп, в Алленштайне – майор Фолькман, в Данциге – майор Весте, в Познани – майор Людерс, в Бреславле – Годовиус...

В Берлине все, поступающие с мест материалы, обрабатывал майор Нейхофф".

На вопрос об агентуре из значительного числа немцев и евреев, проживающих в России, и – занимавших видное положение в обществе, - Николаи уклонился от ответа... поскольку агентура эта еще работала на Германию.

А с фронта в Мелекесс шли письма наших земляков. Например, такие: ... бесконечно жалко смотреть на молодых парней. Можно с уверенностью сказать, что мало кто вернется домой здоровым и не изувеченным, а многие уже в ближайšie дни будут убиты. Полки редеют ЕЖЕДНЕВНО. В победоносных боях, о которых я уже писал тебе, наш полк потерял половину своих..."

Войну Россия вроде бы начала успешно. Была проведена знаменитая Галицийская битва, в которой корпус генерала Л. Корнилова даже перевалил за Карпаты. В ходе ее потери русской армии составили 230000 человек. Австро-Венгрия потеряла 450000 (из них 100000 были взяты в плен). Не принес особого разочарования и поход русских на Восточную Пруссию.

Однако к августу 1915 года противник при активной поддержке германской армией, положение выравнивал. Немцам удалось вторгнуться на территорию Польши, Литвы, Белоруссии, захватить часть Франции. Правда, потери были вновь несопоставимы: с их стороны 950000 убитых, раненных и пленных; в русской армии 757000.

Контратаки русских были вынужденными: спасали положение союзников – французов. Потому, уже в сентябре 15-го против России на фронте действовали, переброшенные с Запада 116 пехотных и 24 кавалерийских дивизии врага. Против этой армии нужно было сконцентрировать еще большие силы. Увеличился призыв в армию, стали создаваться даже женские батальоны "ударниц". Призыву уже подлежали все инородцы!

В феврале 16-го против 1061000 солдат противника, Русская армия насчитывала 1732000 штыков; Западный фронт 754 тыс.; Юго-Западный – 512 тыс.; Северный – 466 тыс. В связи со вступлением в войну союзной Германии –

турецкой армии, на Кавказе был образован Кавказский фронт. Весна и лето 1916-го года были ознаменованы как ярким победами, так и болью поражений.

Наступая в Белоруссии генерал Ранненкамф так "увлекся" погоней за отступающими немцами, что его атакующие части, оторвавшись от второго эшелона и тылов, понукаемые командующим, увязли в Мазурских болотах. А немцы, заманивавшие их, захлопнули у них за спиной эту ловушку засадными полками и – три четверти армии русских было просто утоплено и уничтожено.

Зато удался Луцкий (Брусилловский) прорыв тщеславной командующего Юго-Западным фронтом А. Брусилова. Он, впервые в военной тактике, применил прием, - когда не жалея ни солдатских жизней, ни средств артиллерии, - атаковал врага сразу всеми четырьмя армиями по всему фронту, не концентрируя атаку в одном месте "ударным кулаком".

Результат был хорош: за четыре месяца боев взято в плен 8924 офицера, 408000 нижних чинов, захвачено 581 орудие, 1795 пулеметов, захвачена территория более 25000 кв. километров. Но цифры потери русской армии тоже были велики. Не был взят Брусилловым город-крепость Ковель. В плену оказался самый известный генерал – командующий корпусом Л. Корнилов (кстати в истории Первой Мировой – единственный генерал, бежавший из плена, еще более успешно воевавший после этого, ставший Главнокомандующим Русской армией).

Интересно, что вместе с ним был пленен и поручик Михаил Тухачевский, будущий красный военачальник. История его пленения в Ломжинской битве еще и показательна тем, что сражался он порядках прославленного гвардейского Семеновского полка. Командовал полуротой в знаменитой на весь фронт 6-й роте "охотников" (почти спецназ) капитана Веселаго. Но, неожиданная ночная атака немцев застала роту врасплох. Сам Тухачевский спал, завернувшись в тулуп. Оглушив, его и взяли в плен немцы целым и "тепленьким". Капитан Веселаго, погибший в том бою в рукопашной схватке, в одном строю с солдатами, имел на теле более 20 ран от пуль и штыков.

Видимо, несопоставимые с успехом Луцкого прорыва потери и привели к тому, что в командовании Юго-Западного фронта только Брусиллов НЕ БЫЛ ОТМЕЧЕН царской наградой, чего этот лизоблюд так и не простил монарху, первым переметнувшись к Керенскому, затем – Троцкому...

Говоря о боевых операциях Первой Мировой войны было бы неправильно концентрировать свое внимание только на западном и северном направлениях. Здесь шла война позиционная. И 100 км, продвижения, как в одну, так и в другую сторону ничего не меняли. Стороны перемальвали миллионы солдатских жизней, оставаясь при своих территориальных интересах.

Вновь созданный Кавказский фронт против турок – сразу же выдвинулся в главные – в этом отношении. Поначалу очень небольшой фронт: 100 батальонов пехоты, 96 казачьих сотен, 6 армейских дружин и 300 орудий - вступил в бой за спасение армян от геноцида Турции 24 апреля 1915 года, по прямому приказу Николая II. Затем фронт усилили вторым Туркестанским корпусом генерала Николая Юденича, ибо турки втрое превосходили наши части. В результате этого глубокого наступления, в Турции, из проживавших там 1651000 армян спасли только 375000 (около 25%). Но храбрый Юденич взял Эрзерум и Трапезунд, установив контроль над всей турецкой Арменией.

Еще более впечатляющими были успехи Русского экспедиционного корпуса во Франции, Греции, Македонии. Спасая своих союзников от разгрома, Россия не только начинала неподготовленные ею операции на своих внутренних фронтах, отвлекая главные силы врага на себя, но и отправляла лучшие бое-

вые части на европейский театр военных действий.

Весной 1916 года, в обмен на вооружение, в Европу были отправлены: Особые – 1-я генерала Лохвицкого и 3-я генерала Марушевского бригады, всего около 20300 человек. Добирались бригады долго и трудно: морями-океанами до Франции. Чуть легче был путь Особых бригад: 2-й генерала Дитерихса (позднее Тарановского) и 3-й генерала Леонтьева, спешивших на Салоникский фронт. Осенью 16-ого и весной 17-ого Экспедиционному корпусу посылали пополнение – более 7000 солдат. Итого, за рубежами Родины с немцами под французским, английским и греческим флагами сражалось около 50000 русских воинов.

Следует отметить, что наши бригады и на деле были особыми. Они шли как штрафники, впереди главных атакующих частей союзников во всех смертельно опасных операциях. Русские атакуюя, взяли Афины – свергнув с престола короля-предателя Константина. Русские, захлебываясь кровью, участвовали в прорыве у Амьена, спасая французскую армию от гибели. Русские, потеряв 2/3 личного состава, встали непреодолимым редутом на пути уже певших победные марши немцев на дороге Суассон-Париж, спасая французскую столицу.

Революция в России вывела Экспедиционный корпус на запасные позиции, вернее, - в концлагеря, как для особо опасной заразы. Но самые brave воины и сформировали 1-й Русский волонтерский легион (почти полк) под командованием генерала Готуа. Легион вошел в состав самой дееспособной и жестокой ко врагу французской дивизии – Марокканской. И даже эти, так называемые зуавы из ударной Марокканской, диву давались бесстрашию и умению русских. 85% из именно “Русского Легиона Чести” полегли в тех боях. А затем через Лотарингию, Эльзас, Саар, германский Вормс, Польшу – ушли домой в Россию.

В то же время в неподготовленное наступление, для спасения союзников, в Восточной Пруссии было введено два русских армейских корпуса, которые были разбиты, окружены, пленены. Командующий армией Самсонов застрелился, не вынеся позора.

А в январе 1917 года – начало сбываться пророчество покойного Франца Фердинанда: монарший трон в России был сотрясен не столько войной, сколько предательством ее национальных интересов, разлагающей работой в войска, в тылу и даже при дворе: социалистов, демократов, либералов разного толка.

И только силами 12-й армии болгарского генерала Р. Радко-Дмитриева еще свершались военные операции в масштабах фронта, носившие частный характер, правда, этот прорыв с Рижского плацдарма и разгром 10-й германской армии, поставил Германию на грань краха. Но тут, как по заказу, грянула Февральская революция, положившая начало полному разложению Русской армии.

Одним из первых Временному правительству отрекшись от Монарха, присягнул “герой”, главком А.Брусиллов. Офицерство отмечало совершенную бестактность главкома в том, что он сорвал с себя аксельбанты и украшался красными ленточками, и в том, что его вторая, молодая жена, горячо уверяла всех, что ее муж, “... ваш Главнокомандующий, старый революционер и не изменит новому строю...” После таких пассажей, в армии начался настоящий хаос: массовое дезертирство, убийства офицеров и их свержение с командования.

Социалисты-пропагандисты особо усердствовали в выборах окопных солдатских Советов, братании с немцами, организации (на фронте!) демонстрации 1-го Мая с танцами, кино, митингами.

К марту 1918 года, после упразднения чинов, званий, погон, выборности командиров и их увольнения, - Русская армия перестала существовать, на год пережив только Русскую Империю!

V. Уроки Мировой войны.

Война всякая – прежде всего разрушение и смерть. Но и всякая война лавный двигатель технического и политического прогресса.

Этот парадокс вполне объясним, имея в виду пик концентрации людской воли, энергии масс, мысли, чрезвычайного положения в экономике, ресурсах, производстве.

С 1914 по 1917 годы в России было изготовлено 18,5 млн. винтовок, 480 тысяч пулеметов, 183000 орудий, 84000 самолетов, 340000 автомашин, армия впервые получила танки, бронепоезда...

Кроме разवे танков, которые мы закупали (Англия произвела 1032 тяжелых танков Mk.V «Самец», Франция 3177 легких «Рено FT», а также тяжелые «Шнейдер М.16», и средние - С.А., Германия - тяжелые - «А.7V» и броневладельцы - «Эрхард» 1915.) – Россия произвела десятки подводных лодок, другие корабли, самолеты, бронепоезда, химоружие и броневладельцы «Руссо-Балт М.1914» и т.д.

Естественно, что вооружение это создавалось в тылу. И наш Мелекес не оставался в стороне от оборонных заказов. На чугуно-литейном заводе делали заготовки Симбирскому патронному заводу. В районе нашего пивзавода действовало полужакрытое производство химического оружия и противогаров. Вокруг – в Самаре на трубном заводе делали артснаряды, в Сорново клепа-ли корпуса подлодок, в Сурке рыли и бетонировали военно-морские арсеналы, в Сердобске налаживали радиоаппаратуру, - кипела работа по армейским заказам. А формировался он не случайно . В Петербурге – Петрограде действовал правительственный Производственно-Экономический совет, где на анализе возможностей казенных - царских и частных предприятий , для них разрабатывалась специальная программа технической перестройки. Причем, - все – от интендантов и военпредов – до самого мелкого купчишки воспринимали эти «копеечные» заказы не, как ярмо и подневольную обязанность, - а шли в эту работу сознательно, проявляя особый патриотизм.

Показательно, что в сентябре 1914 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд голов городов и посадов Империи. Уже в первые дни войны сложилась такая самоинициативная потребность выборных органов руководства, в единой организации, объединяющей благотворительную деятельность, подобно – общеземской.

Все вопросы на этом съезде голов, так или иначе, были продиктованы военной обстановкой. «Необходимость совместных действий в деле объединения семей воинов, производства военных заказов, обеспечения лечения, приюта для беженцев, - отмечалось в российской прессе, - сразу выдвинуло главную проблему о желательности объединения голов в разрешении вопроса первейшей важности». И правительство тут же выдало легитимной организации Общегородского Союза 20 млн. рублей в виде займа для образования фонда.

Прибыв из Москвы, участник съезда голов, мелекесский предприниматель и Голова посада К.Г. Марков на собрании Думы, Управы и уважаемых граждан Мелекесса сделал доклад о предстоящей работе. Из почти 200 посадских коммерсантов – ни один не высказался против инициативы прошедшего в Москве форума.

Следует отметить, что производство химвооружения и для России и для Мелекесса было делом новым, поэтому, прибывшие из столицы инженеры-химики, привезли и секретные данные, добытые в Германии агентурным способом, разведкой Генштаба. Павел Аптекарь, сотрудник Российского государственного военного архива, отмечает в своей работе "Агенты и резиденты", что не последняя роль в работе агентурной разведки, отводилась изучению технических новшеств, которые противник собирался применить на полях сражений. Особенно важной была информация об изобретениях в сфере химических вооружений.

... военный агент в Швейцарии генерал-майор С.А. Головань передал в ГУГШ следующее сообщение: "В городе X. На юге Германии на химическом заводе начато производство ядовитых газов на основе соединений мышьяка, против которых современные противогазные маски недейственны".

Работу таких предприятий курировал Военно-промышленный комитет Государственной Думы, возглавляемый депутатом и лидером ЦК партии "Союз 17 октября" - октябристов - Александр Иванович Гучков. Это его усилиями сохранялось терпимое снабжение армии, развертывание в Империи новых оборонных заводов. В том числе и Мелекесского химического. Благо компанентов, для создания смертоносного оружия, в округе имелось в достаточном количестве (соль, сода, поташ, живица, табак, хлорный камень, известь, гнильорыбца, дурман, белена) – все это крестьяне окрестных деревень поставляли в волостной центр, где снаряжались ОВ корпуса арт-минометных снарядов.

Следует отметить, что наряду с милосердными фондами местного значения, в Мелекессе была основана миссия европейского общества милосердия, появились зарубежные миссионеры.

Среди тех, кто с первых дней войны проявил патриотизм, беззаветно служа Родине на фронте или в госпиталях – была уроженка Мелекесса, фельдшерица Дарья Кутыина. В январе 1914 года мелекесский дворянин, руководитель мужской гимназии Н.Н. Калинин был делегатом первого Всероссийского съезда по народному образованию в Петербурге, организованном обществом грамотности. И тогда, безвестные ранее, труженики просвещения, народные учителя, разосланные, как сообщали газеты: "...по медвежьим углам России, имели не только возможность встретиться друг с другом, но и выяснить общие нужды, провести горячие дебаты, именно той толщии, которая, обыкновенно, не высказывает своего мнения вслух – с одной стороны - из боязни попасть под подозрение у начальства, с другой, - из-за невозможности заставить услышать свой голос. Съезд явно говорил, что в провинции не существует той апатии, о которой не еще так давно красноречиво распространялся премьер. Наоборот, провинция живет и чутко следит за тем, что происходит в мире, верхах, стране..."

В этом плане было интересно заседание Государственной Думы 9 февраля 1916 года в Таврическом дворце, которое посетил Государь Император. Речь читал и представлял программное заявление правительства Б.В. Штюрмер. Выступили некоторые министры (военный, морской, иностранных дел). Однако фракции прогрессивных националистов, центра, земцев, октябристов, думской группы 17-ого октября, прогрессистов и народной свободы, - огласили Декларацию, где было выражено чаяние большинства народа России:

"Во главу мер, необходимых для стройной организации страны, большинство Государственной Думы продолжает ставить создание правительства из лиц способных и знающих, сильных доверием страны, готовых решительно изменить применявшиеся доселе способы управления и могущих работать в согласии с народным представительством"...

К какому результату привели подобные либеральные декларации в октябре 17-го мы уже знаем!

А война продолжала набирать обороты... Кроме Европы, в эту "мясорубку" были втянуты Америка, Африка, Азия. По сути война переросла из Европейской в межконтинентальную. Только в ходе боевых действий - до декабря 1917 года пали правительства в Австрии, Венгрии, России, Голландии, Албании, Сербии. Были свергнуты монархии в России, Италии, Румынии, Греции, Турции. Сменено военное и гражданское руководство в Бельгии, Германии, Франции, Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Испании, САСШ... Даже - был смещен Папа Римский!

Конечно, в результате коммунистического-интернационалистического переворота и бандитского захвата власти, больше всего пострадала Россия. Первая Мировая война ударила по нам, русским. Ликвидация Российской Империи – самоопределение полуграмотных и неспособных развиваться самостоятельно народов-рабов: финнов, поляков, молдаван, литовцев, латышей, эстонцев, грузин, азербайджанцев, уйгур, месхетов, галлицийцев, манчжур, айнов, алеутов, нивхов, липянов, словаков, самоедов, - привело к тому, что некоторые из них вообще перестали существовать.

Любопытно, что ни большинство этих народностей (исключая литовцев, поляков, финнов, эстонцев и латышей), ну ни как не хотели этого "по-ленински" – самоопределения. И уж совсем не предполагали стать горючим материалом для костра мировой революции и всеобщей социализации.

Регрессивные и прогрессивные стороны войны в жизни народов – неоднозначны. Скажем, что мы в Мелекесе гордимся тем, что и плотник с мельничного производства Марковых – призванник Василий Иванович Чапаев, уйдя на фронт, из нашего посада, стал унтер-офицером. А за особое мужество, героизм и способности к военному искусству стал полным Георгиевским кавалером. А уже в 1917-м – лупил, почему зря, элитные полки своих сослуживцев по Русской армии, став легендарным полководцем в РККА.

Сотни рублей серебром и золотом, последние крохи, все лучшее – отдали мелекесцы в фонд победы над немцами, в поддержку народной армии. Но уже 30 августа 1914 года – 250 мелекесских ткачей со льно-прядильной мануфактуры провели первую в посаде, организованную предателями родины и свободы, забастовку, с требованием перемирия с врагом и увеличения денежного содержания рабочих...

Это ли не парадоксы истории!

VI. И еще несколько фактов...

Как видим, Первая Мировая война не только унесла 8 миллионов жизней, но и на долгие 74 года выбила Россию из мирового общества, обескровила ее, превратила в огромный концлагерь под руководством большевиков-интернационалистов.

Кроме того, в ходе ее, а позднее - в гражданской войне с русским народом, страна потеряла свое морское величие: были потеряны: линейный корабль, 3 крейсера, 11 эсминцев, 8 подводных лодок, 10 прочих судов. Погибли 251 офицер, 5134 матроса. Уже с 1918 года полностью перестал существовать весь Черноморский флот, частично утопленный по приказу Ленина, частично ушедший в Турцию с Белой армией и переданный союзникам. Союзники нелюбожительно поживились и за счет Северного флота. А японцам достался почти весь флот на Тихом океане...

Бурно развивавшаяся с 1913 года русская авиация, насчитывавшая 6 авиарот и 36 авиаотрядов, созданную конструктором И. Сикорским единственную в мире эс-

кадру тяжелых бомбардировщиков (самолеты "Илья Муромец") из 38 машин, была безвозвратно утеряна на долгие годы...

Авиаторы, учившиеся в школах Гатчины, Севастополя, Варшавы, Феодосии, Тифлиса, гениальные конструкторы (создававшие потом авиапромышленность США, Франции и Германии), большинство авиационщиков, покинули родину.

Русские летчики не только первыми в мире применили авиационные бомбы, они ввели в строй морскую авиацию. Они первыми осуществили воздушный таран: зайдя сверху, - били колесами по вражескому самолету; делали арканы с "кошкой" и накидывали их на пропеллеры вражеских самолетов; забрасывали врагов дымовыми и динамитными шашками...

Кстати, российская пресса того времени глубоко скорбила, рассказывая о гибели одного из лучших летчиков-испытателей П. Евсюкова (нашего земляка, уроженца Ставропольского уезда). Этот известный пилот сражался в небе Болгарии, Турции. Он готовил авиаэкспедицию в Мурманск, чтобы найти пропавших ученых группы Брусилова, когда грянула I Мировая война... Евсюков вернулся в Питер, где испытывал в Гребном порту гидропланы для морской авиации. Один из этих полетов стал для него трагическим...

Трагическими стали для России и февральские дни 1917года. Совсем по иному могли бы выглядеть итоги этой войны, не совершись революционный переворот. В ходе его мы получили деморализованную армию и оставший, в бандитском угаре безвластия, тыл. Россия потеряла до 50% своей территории, до 90% промышленности, еще около 10 миллионов человеческих жизней, столько же осталось без Родины. Рухнули Вера и церковные устои. Обезлюдели города и села. Началось тотальное преследование русских и православных людей, и их планомерное, не кончающееся сегодня, уничтожение. Иными словами, в Европе не стало больше конкурента ведущим державам. Не стало его и у САСШ.

Чего и добивались, развертывая Мировую войну.



В.Гордеев русский писатель.





Родилась еще в прошлом веке (во второй половине), в Москве, но младенцем была привезена родителями в Димитровград. С тех пор здесь так и живет. Как и все нормальные дети, училась в средней школе. И даже закончила ее вполне успешно. Работала, искала себя. Этот поиск приводил Екатерину то в драмтеатр, то на автоагрегатный завод, то в технический колледж. Сейчас Е. Сорри работает в редакции «Димитровград-панорамы». Довольно долго никаких литературных талантов не проявляла, видимо, копала опыт... К 1996 году количество

опыта, похоже, начало наконец переходить в качество, и с тех пор Е. Сорри периодически радуется читателей своим творчеством. Печаталась в основном в газете «Димитровград-панорама», но были публикации в журнале «Мономах», газете «Час Пик», журнале «Димитровград». В 2000 году в Саратовском издательстве вышел сборник «Героиня, лох и другие», в котором также имеются ее рассказы. Член Димитровградского писательского отделения Союза писателей России. Впервые представляется на суд читателей в журнале «Черемшан»

* * *

**Надену клоунский колпак
смешков и болтовни.**

**Я шут, а кто из нас дурак-
судить не торопи.**

**Да, ты смеешься хорошо:
Последний, как-никак...
Скрывает грим мое лицо?
Смотри на мой колпак!**

**« А мне надобно смеяться
пред тобою, как паяцу.
И, как будто на манеже,
красоваться пред тобой.
Да, я клоун: «На арене
Рыжий шут и лица те же...
Мы скрываем под одеждой
Белых кроликов и боль!»**

**Как будто деревянный конь-
оседлана любовь.
На бубенцы сменена броня,
и цель- не глаз, а бровь!**

**Мольбы не стоили гроша.
Податлив, как свеча,-
когда огня себе прошу,
натужно хохоча...**

**« Да, мне надобно смеяться
пред тобою, как паяцу.
И, как будто на манеже,
красоваться пред тобой.
А я клоун,- на арене
Рыжий шут. И лица те же...
Мы скрываем под одеждой
Белых кроликов и боль!»**

Падение.

**Хочу быть бабой! Долою крылья:
Пустите их на перья для боа.
Хочу быть бабой! Давайте выпьем
За то, чтоб не болела голова.**

**За упокой, но без слез,
К новой жизни,- как в бездну,
Она - то не в диво.
Будем пить красное!
Каждый пернатый, известно,
Умирает красиво.**

**Подайте счастья.
Подайте ужин!
Пусть любит кто-то:
Трудно быть одной.
Разлейте вина.
Омоем души
Моей неисчерпаемой виной.**

За упокой, но без слез,
К новой жизни,- как в бездну,
Она - то не в диво.
Будем пить красное!
Каждый пернатый, известно,
Умирает красиво.

Мой свет чудесный - глаза так резал!
В открытом небе легкая мишень
Была хоть светлой, была хоть резвой...
Забрали крылья - на спине их тень.

За упокой, но без слез,
К новой жизни,- как в бездну,
Она - то не в диво.
Будем пить красное!
Каждый пернатый, известно,
Умирает красиво...

* * *

Ты уезжал, я прощала:
- Все ж едешь?
- Да. Накинь пальто!
- Минут пятнадцать до вокзала...
- И после я тебе - никто?!

Дорога тонкою чертой
Разделит мир на твой и мой.
Разделит жизнь на «до» и «для».
Тут не любя... там не щадя...
Нить - через души - в города...
- Южнее душно?
- Ерунда!
- Не «здравствуй»,- а вокзальный шум.
- Я напишу...

- Ты виноват, я виновата,
Но нету сил считать грехи.
- Темнеет что-то рановато.
- Нет, просто- черные деньки.

Порог, ступенька- и итог,-
Но мы выходим за порог!
Черта деления. Как упрек-
Я слышу шаг любимых ног.
- Ну что ж, прощаемся навек ?
-Быть может, свидимся,- навверх,
Подняв глаза, тебе скажу:
- Я напишу!

* * *

Когда ноябрь умрет
И упадут снега
Моя душа придет
К тебе издалека.

Ты удивисься, взглянешь и не узнаешь ту,
Что пела и плясала у бесов на виду,
Ту, что любила смело, но-холода лишь знак,-
Три скорлупы надела и пляшет не за так.

Когда ноябрь умрет,
А ты затопишь печь,
Поймешь, что все же мог
От холода сберечь!

Ты снова в душу взглянешь:
не знать бы лучше ту,
Что пела и плясала у бесов на виду,
Ту, что любила смело,
но-холода лишь знак,-
Три скорлупы надела и пляшет не за так.

Решишь, что это гибель,
Решишь, что не спасешь.
С улыбкой приобнимешь,
И к печке подведешь.
Скорлупки станут пеплом,
Душа бессмертна - я-
Вновь загорю, как прежде.
Огонь- любовь моя!

Когда ноябрь умрет
И упадут снега,-
Моя душа придет
К тебе издалека.



* * *

Я больше не скучаю,
Я больше не грущу.
Теперь, напившись чаю,
Я крепкого ишу.

Я больше не скучаю,
Но в чем была вина?
Пила до дна- не чая,
Что пью давно одна...

Миленький, почему же нас
Бьет судьба,
Да не два,
Не раз?
Кружатся
Наши осени,
Месяц мой,
Остроносенький!

А гордость - злая псина
И кошки на душе.
О,- и свиное рыло,
В бокальчике уже!

Тебя любила. Мне же
Любовь, как чай горька.
Тебя забыла.. Где ж ты?
Не пейте коньяка!

Бьет судьба,
Миленький, почему же нас
Бьет судьба,
Да не два, не раз?
Кружатся
Наши осени,
Месяц мой,
Остроносенький!

Поэтическая перекличка

« НА СОЛНЦЕ КЛЕНОВАЯ ПРЯДЬ »...

Юрий КОНОНЕНКО

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Сегодня время так спешит,
Словно летят года,
Но молодость твоей души,
С тобою навсегда.
Она журчит в твоих словах
Мне кажется, всегда,
Как пела в славянских краях,
Речушка Кадада...
Улыбки ласковый полет,
С хитринкой разговор...
Нас юность - в молодость зовет,
Бодрит, как ветер с гор!
Да, молодость в тебе жива, -
Она у Крюковых в крови.
Прими же скромные слова,-
Признания в любви.

ДОРОГОЕ

Скоро атака.
Страшной тишины,
Пожалуй, не может и быть.
- Ребята,- слышался бас старшины,
- Как бы, того бы... чуток, покурить?
- Махорки хватает...
Бумаги, вот нет,
Найдете клочок газеты?
-Э, выдумал тоже!
Какое...газет,-
Скурили родных приветы!
Замолкли.
Потом, подавив смехок,
Вмешался безусый...
Совсем мальчишка:
- Ты свой-то, браток, развяжи - ка мешок,-
Пойдет на сигарки и книжка!

-Верно, есть книга.
Но, только она...
Ведь это же, братцы,-Ленин!
И снова в окопы сошла тишина
Через минуту -
Сраженья!

Так, по изрытым дорогам войны,
Сквозь битвы, труды и лишения,
Шла...книга,
в походном мешке
Старшины:
По красному -
Золотом -
ЛЕНИН!

ЭТЮД

Пусто на шумном бульваре.
Промозглый гранит у - Огня.
Клены, как пламя в пожаре,
Светом неяркого дня...
Из летних осталось набросков:
Салют из последних цветов,
От щебета птиц - отголоски,
Твой голос,
Да шорох шагов.
Друг другу так редко дарили
Радость случайных встреч.
Все в прошлом...
Листва на бульваре,-
И - нечего больше беречь.
Вдруг - солнце!
И все - засверкало!
Надежда есть в тихих словах:
-Немного дней светлых осталось
У Осени
В закромах...

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Ты видел - листва опала?
В озерах она.
На дне.
На донышке только осталось
У осени светлых дней.
Птиц караванные реки,
Журчали, мелели,-
Просохли...
Смежая осенние веки,
Вспомни их окрик!
Начало всей русской грусти -

Та, первая стая гусей.
Начало ненастного устья -
Небо пустое за ней!
Обыденность разговоров -
Смокла, как дни, как песни.
Скреби-не скреби - просторы,-
Пусты закрома поднебесья!
Погода боится огласки...
Есть в осени чувство вины:
Зачем бабе-девичьи пляски,
Наряды - совсем не нужны!
За строгостью показною,
Трудно усмешку скрывать...
Займется лучиной, порою,
На солнце - кленовая прядь.
То - осени завещание
Или - красивый наказ,
Последняя воля,
Желание -
Святы всегда у нас.
Рестниц не опустишь при взгляде,
Соперницы нет.
Не дана.
В осеннем вечноном наряде -
Ты старику,-как жена.



Слышу леса ночное шептанье.
Колеи смутно видится след.
Проясняется медленно тайное -
Медный колокол грянул-в рассвет!
В паутине ветвей над полянами,
Страх ночной загоня под пни,
Засветились березы багряные,
В облаках отражая огни...
И зарделись осинники горькие,
Чуть дрожа своей редкой листвою.
Засмутились, что люди на зорьке,
Залобуются их наготой.
Карнавала одежды разбросаны!
Что ни шаг,-то охалка листвы!

Так и солнце играет росами
Свежим утром.
Неужели, не видели вы?!
С неба - льется поток просветления,
Родниковой, живою водой,
Все влюбленны без тени смущения,
В мир - в оправе листвы золотой!
Я люблю - предосенне эхо.
-Я люблю!- отраженно стократ!
-Я люблю,- колокольчики смеха,
Повторяют твой смех.
И твой взгляд!
Я люблю наш простор - без предела,
Как заклятье,-твержу наизусть:
-Я люблю!
В дымке сказочной, белой,
Мне ответит взаимностью Русь!

Е.п.завета ПАРФЕНОВА

Занесло меня в водоворот-
Или - словно в зыбкую трясиину...
И теперь несет, несет, несет,
Выбраться оттуда нету силы!
Помощи у всех прошу, молю:
Ну, хоть ктонибудь меня спасите!
На мольбу отчаянно-мою -
Эхом что-ли, люди, отзовитесь!
А повсюду: тихо, тихо, тихо,
Словно я одна в густом лесу -
А за мною бродит только лихо...
Вдруг, кричит мне женщина: «Спасу!»
Круг спасательный стремительно бросает.
Из последних сил его ловлю,
Тут меня и силы оставляют.
«Ну, спасибо!- руку подаю,-
Дайте, отдышусь еще немного!»
Вот уже стою на берегу -
Собираюсь в новую дорогу...

Звенит гитара струнами,
Рвет душеньку мою.
Балладами иль рунами
Сейчас я запою!
И точно,- околдована
Я музыкой такой:
Запела вдруг взволнованно
И радостно-легко.
Ах, милый и желанный,
Когда же ты придешь?
И голосом пространным
Балладу подпоешь?
Гитары звуки странные

Как исстари - нежны.
Слова - любви ли, бранные,
Нам стали вновь нужны...

Мелодия качает нас
Ушедшим кораблем.
Лишь руны эти странные,
Да мы опять вдвоем!

Стоит березка белая
Тонкая, ветвистая.
Стоит она несмелая,
Одета в платье чистое,
Белое, венчалное...
Стоит она лучистая,
Но оттого - печальная.
...Роняют желтый лист
Подруги с нею рядом,
Их хоровод речист,
Улыбчивы их взгляды...
Что ж так «невесте» грустно,
И одиноко что ж?
Теперь какие чувства!
Ее не расстрожь...
Шумит листвою песенный,
Венчалный тот призыв.
«Невеста», что ж не весело
Глядишь ты ... до слезы?!
Друзьями непокинутой,
Ей Ветер подпоет...
Березка, как Россия ты-
Что под венец идет.

«Я стихов разгребая груды...»

Николай ВЫСОТЫ

СИЛУЭТ

Когда она целовалась с ветром.
Я ее ревновал безбожно.
И, убитый ее силуэтом,
Вверх карабкался, лез из кожи.

Губ обветренных наважденье
Пело песнь мне свою повсюду.
И, расставшись с природной ленью,
Я стихов разгребая груды,
Чтобы лучшую
Выбрать причуду.

Мы с тобою не ходим назад.
Наши ветры влекут нас вперед.
Обойдется во сколько карат
Нам сей нервный, пленительный лёт?..

Ты не бойся! - земля далеко:
Даже если я неба боюсь.
Слишком, слишком оно велико,
Но вмещается в тихую грусть.

Мы с тобою как сны, что поют.
Так с ладонью сплетется ладонь.
Пусть - по сторону эту - уют,
По ту сторону сердца - огонь!

У ИЗЛУЧИНЫ

Мой дом стоит у излучины,
В окошке лучина чуть теплится.
Там небо укрыто тучами.
Но в солнце там больше верится.

Нет смысла там силой меряться,
Упрямством иль остроумием.
Там Явь даже с Навью мирится,
Безлунне - с полнолунием.

Мой дом стоит у излучины,
Где ветры воют голодные.
Где волчьей тоской измучены,
Все шепчутся тайны безродные:

Там кричат о небыли,
А стерж об огне печалится.
Кем соткан стихарь мой?.. Небом ли?
Ширь неба добыта палицей?

Мой дом стоит у излучины.
Сова в ночь глядит люцедеглазая.
Лет триста скрипят уключины:
Но в доме том не был ни разу я.

БИЛЕТ В НИКУДА

Бездыханное утро
На груди просветленной ночи.
Мы поступили мудро:
Билет в никуда был просрочен.

Зеркала искривились.
Свечи выгнулись тонкой аркой.
Пусть смешались все стили,
Зато - празднично, лепо, ярко!

Слава богу, есть пара богов,
С медом чай и родные смыслы.
Все как прежде, Ясон и «Арго»,
Те же ноты, цвета и числа.

Пригвожденная память
Спит на дне фотографий старых.
И приходишь ты "под парами",
Чтобы ночью отстали кошмары.

Голосует бродяга
На обочине грустным взглядом.
Ветёр вновь сочиняет сагу
О холмах (это свалка рядом)...

Гороскопы висят на деревьях.
Кто чертил их,- в них сам не верил!
И не важно, в ком сущность девья,
В ком стрелецкая. Всюду двери

В ресторан, в рай, в ниферно,
В свое сердце, в свой разум, в ничто,-
Входим в ниши свои планомерно,

Лишь душа улетит далеко,
И без планов - реально, легко
Ей плевать на долги и паттерны.

ВЕРЮ

Я верю в эхо, верю в безнадежность,
В потухшие костры, в сгоревший лес.
Я верю в пустоту и невозможность,
В депрессию, усталость и регресс.

Я верю в низвержение с пьедестала,
В судьбу без крыльев, в тайну без причин,
В гримасы, пересуды и оскалы,
В двойную правду масок и личин.

Когда пройдешь сквозь лес
разуверенный,
Тогда поймешь, как ценен каждый миг.
Так важн отпечаток бледной тени.
В одном из них - скопление всех улик.
И ты следишь без сна и сожалений
За каждым мигом серых дней своих.

Ты не думай, ведь я ненадолго,
Ненадолго уехал туда,
Поклониться Величеству - Волге,
Где летят за мечтою мечта.

Дни, как годы Я скоро приеду.
Как же я без огня твоих глаз?
Жаль, что мало сказать напоследок
Я успел тебе искренних фраз.

Не грусти! Одиночество - блеф.
Ты поверь! - это точно я знаю.
Пусть тебя эти дни светлый эльф
Оберегает.

И от самых пустынных проблем,
Чтоб улыбкой твоей освещенный,
Этот мир, отдохнув от дилемм,
Пребывал в эйфории чуть сонной.

Погляди в сумасшедшую высь!
Я с тобой говорю облаками:
"Я в пути уже. Еду. Дождись!
Рифм осыплю тебя лепестками".

Как же я скучал, моя хорошая!
Как стучало сердце по ночам.
Справлюсь ли, мой ангел,
с этой ношей?
Никому её я не отдам!

Как же было грустно, несказанная!
Как глупец, ходил я сам не свой.
Я не знаю, чем ты осиянная?
Но светло и ночью мне с тобой!

Как же хорошо мне, распрекрасная!
Дни глухой разлуки позади.
Ты теперь со мной, взрывоопасная:
Взрывом чувств взаимных награди!

ТАМ:

Там время застыло.
Там небо во льдах.
Меж мумий гуляет
Щекочащий страх.

Закрты просторы.
Всевластна судьба.
Печать кредитора-
Как поступь слона.

Лягушки застыли
В стекле-хрустале,
В научной бутылке,
В подопытном сне.

Выглянет солнце,
Пойдут пузыри.
Оттают лягушки
Советской земли!

БУМАЖНАЯ И ЗОЛОТАЯ

Как-то столкнулись (во сне) две кареты.
Кареты - бумажная и золотая.

Бумажная скомкалась, в свиток скаталась,
И превратилась в бумажного змея,
И улетела, куда нашептал ей
Ветер. Никто ее больше не видел.

А золотая в большую монету сплющилась.
Люди ее по кусочкам всю растащили,
Попав добровольно в бархат речей
И роскошные клетки.

А в них посадили красивые песни.
Запятав в одеждах, портьерах:
А, впрочем, Одна упорхнула.
Быть может, играет
Ее по ночам тростниковая флейта...

Твой желудок хранит молчание.
Твой мозг полон разных забот.
Ты начальник цветов нечаянный,
Снов художник и пейзенский кот...

Ты провел акведук этой ночью.
Полдень - встретил тебя на=ура!
Но, ревниво, зеленые очи
Просверляли тебя до утра.

Ты хотел оглянуться, но вспомнил,
Что надо смотреть лишь вперед.
Тебя наградили, но скромник,
Ты скрылся от всех в этот год.

СКУЧНЫЕ СТИХИ

Плывут по небу скучные стихи.
Я их ловлю, зачеркиваю и...
Как-будто стало меньше шелухи,-
День, испещренный точками над « i » ,
Уже не так тосклив, занудлив, пуст,
Скорей, заряжен некою игрой:
В ужимок минус врос улыбок плюс.
И я делюсь из сердца тишиной
С глазами фонарей, машин, домов,
В конце концов, людей, спешаших вдаль.
Весь город дышит сном моих миров.
Да что там говорить,- и неба сталь
Вдруг просветлела, и плывут стихи
Уже не скучные, раскрашенные так,
Что благо нахожу средь дней плохих,
Где явью вдруг привидится мечта!

Имеет все свою причину.
Быть может, к счастью, может, нет -
Рисует рок свои картины
Или сжигает в топке лет?

И неслучайно улыбнется
Порой на взгляд мой незнакомка.
Как-будто душ и мыслей сходство?..
И так незримо, так негромко...

Да, да. Чуть слышно. Тишина
Умеет ткать свои узоры,
Порою так, лишая сна,
В мозг рвутся ангельские хоры.

К чему, зачем был этот штрих?
А может, это лишь уловка-
Простой кокетливой плутовки:
Восторг поймать в глазах моих?

А я пишу свой нервный стих,
Придумал там себе чего-то...
А мир мой также стар и тих,
На струнах спят все те же ноты.

По непредвиденным причинам
Ты удивился и пропал.
Не помогла тебе осина.
Наверно, ядами похвал
Ты был порядком заморочен?
И подорвался на словах,
Скрывавших мины червоточин,
Где ждал, под маской смеха, страх.
Поймал тебя на полувзгляде,
На полужесте подловил.
И ты, представленный к награде,-
В момент лишился дерзких крыл.
Твой взгляд тяжелый, безучастный
По дну скребется, как паук.
Не потому ли нервный, страстный
Меж сном и явью перестук?

ДОЖДЬ

Дождь идет за окном.
Дождь по крыше бежит.
Дождь садится в автобус
И едет со мною.
Лучший мой собеседник,-
Прозрачен на вид,
В каплях тайны храня,
Ничего он не скроет.

Дождь мечтает о том,
Пусть он сед, как старик,
Свой серебряный звон
Перепутать с молчаньем.
Дождь способен лицо
Превратить в солнца лик,
И наполнить твой стих
Своим свежим дыханьем.

В каплях = буквах его,
Словно нет и воды.
Что ушло, вновь придет.
Что пришло, испарится.
Дождь шагает за мной



И смывает следы.
Между мной и дождем -
Не заметить границы.

Дождь идет за окном.
Дождь по крыше бежит.
Дождь садится в автобус
И едет со мною,
Укоризненно смотрит,
С участием глядит.
Дождь - везде. Дождь - в душе
Рвет струну за струною...

Николай Высотин родился в 1965 году в городе Кизеле Пермской области. В середине 70-х переехал вместе с семьей в Димитровград. Закончил местный механико-технологический техникум, по направлению работал в Самаре на одном из заводов. После армейской службы вернулся в Димитровград, где работает в НИИАРе оператором. В 1997 году закончил заочно филологический факультет Ульяновского педагогического университета.

Слагать рифмы начал с 9 лет, а впервые стихи были опубликованы в 1991 году. Печатался в журнале «Димитровград» и литературно-краеведческом журнале «Черемшан», а также в других, городских, районных и областных СМИ.

В 1983 году появились первые песни. В 1991 году вместе с Петром Назаровым создал группу «Вход и Выход». В 1993 году группа записала музыкальный альбом «Холодный блюз». Параллельно появлялись бардовские песни. Сейчас Николай участник группы «Планы на Вечер» (бывшая «АмальГамма»). В 2002 году был записан 1-ый альбом этой группы. Кроме того, несколько ранних песен вошло в московский проект его брата Сергея под названием «Ночные танцы».

В 2004 году в Москве вышла в свет первая книга стихов Высотина «Сердце змеи».

«Что с тобой, Великая Страна?...»

Валентин МАНУХИН

НЕОБОСОБЛЕННОСТЬ

В ломке низких страстей
Пребывают чины -
Воры разных мастей
У кормушек страны.

Где же совесть, где честь?
Бесполезно взывать.
Взятки, плутни да спесь -
Кабинетная власть.

«Демократии» вал
Вынес мусор наверх:
Править стал криминал,
Грабля всяко и всех.

Где не надо - кричим,
А где нужно - нет слов.
Всё с плакатом стоим:
Нам бы Сталина вновь...

Да, Плеханов был прав -
К коммунизму шли зря -
Слишком рабский наш нрав,
Чтобы жить без царя.

* * *

На востоке полчища чужие
Грабят недра и вывозят лес,
С юга прут кочевники степные,
И Кавказ огнём охвачен весь.

А сыны-защитники - хмельные -
На иглу всех садит сатана.
Мрёт народ от шокотерапии.
Что с тобой, Великая Страна?

Вспомни, русич, Поле Куликово
И редуты у Бородино!
Неужель на нас наденут снова,
Как позор, ордынское ярмо?!

Столько жизней лучших положили
Наши предки храбрые в боях,
Чтобы мы достойно, гордо жили,
За детей своих не зная страх!

Протрезвись, открой глаза, Россия, -
У порога нашего - Беда!
Собери, в кулак единый, силы:
Черной тучей движется орда!

О СИЛЕ

Силе слабый не помеха.
Аксиома КУЛАКА:
Кто сильней - ядро ореха,
Скорлупа - для слабака.

Янки это всё Ираку
«Разъяснили» с кораблей:
Бьём мы вас не за теракты,
А за нефть - она важней!

Кровь из горла, нефть из скважин -
Всё смешалось, всё в огне -
«Демократню» для граждан
Привезли им на броне!

Сила есть - ума не надо!
Слабым - сильный аргумент!
Вору честность - не преграда,
Совесть - лишний инструмент.

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО

Где ж вы, други мои, соловьи
Вдохновения, радость души?
Иль закончились строки любви,
Иль вас гам воронья заглушил?

Что с тобою, родная страна?
Реки дружбы и братства - сухи,
А у моря раздора - волна,
Полнят воды наживы грехи.

Честный люд - неугоден, гоним -
Стали в моде пройдохи с братвой,
Правит балом чиновничий Джинн,
С прилипающей к злату рукой

В темном небе зарницы - костры -
Надвигается тучей Гроза,
Ее молнии-стрелы остры,
Дождь тяжел, как у горя слеза.

Вот и ветер с Востока подул:
Запылились дороги, холмы,
Прокатился тревожащий гул,
Как предвестник грядущей войны

Где ж вы дружбы людской соловьи?
Смог насилия и зла над душой,
Задышается Мир без любви,
Как пустыня в полуденный зной.

Хрупка и скоротечна жизнь земная,
А Космос - неизмерен, необъят
И есть ли в нём ещё земля такая?
Куда, зачем Галактики летят?

Вселенная!
Где суть её устройства?
Куда и кем проложен Млечный Путь?
Всё движется,
меняет свои свойства,
Прошедшее, в реальность не вернуть.

Пройдут года и Разум человека
Откроет тайну вечности миров
И будет жизни час длиннее века,
Без войн, без бедствий,
Без земных оков.

* * *

У каждого своя судьба,
Свои мечты, манеры, речи,
Свои возможности у лба.
И каждый - финишем помечен.

Путь жизни краток и тернист,
Зло делает его короче.
Он в Правде - светел и лучист,
В Обмане - день темнее ночи.

Зачем же мы себе во зло,
Порой идём во мглу, где зыбко?
Коль небосвод заволочло, -
Для сердца солнышко - улыбка!

* * *

Как всё ж огромен Млечный Путь
И краток путь земной -
Мы успеваем лишь взглянуть
На Божий мир с тобой.

Торопит лето васильки.
К закату дни спешат.
И только лику вопреки
Не старится душа.

Любовью молод человек -
В ней столько сил - тепла,
Что средь зимы растает снег
И зацветут луга!

И позабудешь о годах
В кольце любимых рук!
В душе такая благодать,
Коль рядом близкий друг!

Ужель, судьба когда-нибудь
Нас разлучит с тобой?

Как всё ж огромен Млечный Путь
И краток путь земной.

* * *

В небесах тает след журавлиный.
Вышел к просеке запах грибной.
Осень платье снимает с рябины,
То, что шито ей было Весной.

Прислонился я к ветке щекою
И, вздохнув, словно другу сказал:
- Понял я лишь осенней порою
Как прекрасна в цветенье лоза

Но играет багрянец у сада,
И развесила бисер роса -
В наступившей поре листопада
Есть своя, золотая краса.

Ярок день единения красок,
В честь созревших в округе плодов!
И алеет от лиственных плясок
В гроздях ягод рябиновых кровь.

НЕНАСТЬЕ

Тучи с мглой пришли с утра -
Солнышко украли.
Дождь вновь лёт, как из ведра, -
Речки повзбужали.

Всё село клянёт дожди -
Жатва под угрозой!
Капельки с колосьев ржи
Падают, как слёзы.

И не выйдешь никуда,
Грязи - по колена.
И в лугах одна вода -
Стало черным сено.

Хмур селянин у окна -
Дума душу гложет:
В черных тучах вся страна -
Кто селу поможет?

ДРУЗЬЯМ-ВЕТЕРАНАМ ПО РВСН

Вспоминаются ратные дни,
Городок наш таёжный и скромный,
Лейтенантских улыбок огни,
И взлетающий гром космодрома

Первый пуск!
Сотрясалась земля.
Лес застыл в ослепительном свете.
И победные крики: «Пошла-а!!!»,
Вслед ожившей могучей ракете.

Пал тихо на сосны снежок,
На объятые лица азартом,
И струился смиренно дымок
Над горячим, умякнувшим стартом.

Годы, годы:
В отставке друзья.
За ракетными пультами - внуки.
Но хранит в душе память моя
Космодрома могучие звуки.

* * *

Ему твердят:
вся жизнь - борьба!
И надо быть в ней хитрым волком -
И наверху будешь всегда,
И зубы будут «не на полке»:

А он - к земле родной прирос!
Растит на грядках им ответы:
Коль в радость труд, в душе - Христос -
Счастливой человека нету!

Жизнь, как омут,
так порой закрутит -
Выбирай - другого не дано:
Или режь мешающие пути,
Иль затянет, прямиком, на дно.

В мире много всяких увлечений,
Но всегда вкусней запретный плод.
Чем сильней, приятней искушенье,
Тем коварней в нём водоворот.

* * *

Хвалился подруге богатством пройдоха,
Что ложь его в маске, притом в дорогой.
А Правда, мол, дружит в миру только с лохом,-
И в жизни всегда остаётся нагой.

О ЗАВИСТИ

Она - пристрастия изъян
И злые чувства её крепнут,
Когда глядит в чужой карман,
Глаза же Истины враз слепнут.

О БОЛЕЗНЯХ

Коль пред болезнью все врачи пасуют,
Над нею бабки местные колдуют.
Когда страна в валютной лихорадке,
Её врачуют импортные «бабки».

О ПОГОДЕ

Когда в запасе личном мало лет
И под ногой слабеет жизни стремя,
Ты сам поймёшь:
Плохой погоды нет,
Научишься ценить любое время.

ОСЕНЬЮ

Полями, ложиной
В лес осень пришла:
Огнем все осины
И клёны зажгла.

Костры на опушках
Искрятся листом.
Укрылись волнушки
От пламени мхом.

Пожухлые кроны
Жжёт лиственный жар.
Лишь соснам зелёным
Не страшен пожар.

Огонь у них с детства
Горит на стволах,
Зимою,- чтоб греться
В студёных снегах.

* * *

Утром выглянул в окно -
На дворе зима
И на крышах серебро,
И бела земля!

А на вишне - снегири,
Обживают сад,
Грудки - пятнышки зари,
На ветвях горят

Эх, сейчас бы санки взять,
Сбросить будней груз,
И со снежной горки мчать,
Детство возвратив.

Крикнуть ёлкам молодым:
- С первым серебром!
Сколь, ещё весёлых зим
Встретить мне дано?

НА МАСЛЕНИЦУ

Уже с утра в саду щебечут птицы.
На ветке, в льдинке, солнышко горит.
И светятся улыбкой встречной лица,
И тропкою весны капель спешит
На площади оркестр, гармонь играют
Народного гуляния разгар:

И стар и млад - все зиму провожают,
Парят блины, дымится самовар.
Повсюду смех, восторженные крики
На постаменте - в пламени - Зима,
А рядом - молодая, с красным ликом,
Отплясывает «барыню» Весна!
Я в круг вошёл и с ряжеными в пляске,
Испил в азарте молодость душой
И запылали щёки алой краской,
И сам я весь насквозь пропах весной!

На масленицу сердцем юны люди
И даже, в льдинке, солнышко горит!
И верится, что хорошо всё будет,
Да и весна о том же говорит...



Искромётный Шукшин.



Василий Шукшин, талантливый русский писатель, актёр, режиссёр, был бы в весьма почтенном возрасте. Ему исполнилось бы 75 лет. Высокая значимость этого события определяется ещё и тем, что через творчество этой яркой личности объёмно и глубоко выразился и выражается огромный внутренний мир многих наших соотечественников: их думы, заботы, волнения и радости.

За сравнительно короткий период творческой деятельности Василий Шукшин оставил значительный след в русской литературе, в киноискусстве, в духовном становлении большей части нашего общества. Эта исключительно одарённая личность неожиданно вошла, а точнее сказать, стремительно ворвалась в число тех, кто представляет собой национальную гордость русского народа.

В чём же феномен Шукшина? Почему его творчество имело мощный общественный резонанс? Да и сейчас интерес к его произведениям продолжает иметь место. Более того, в условиях новых социальных отношений его творчество приобретает ещё большую остроту и новую значимость. На мой взгляд, его уникальность объясняется редким сочетанием в одном человеке природной интеллигентности с высоким художественным дарованием. Возможно, такая трактовка может показаться неубедительной. И это было бы так, если под интеллигентностью понимать только элементарную воспитанность и образованность человека. Но настоящая интеллигентность намного объёмнее этого. Сам Шукшин на этот счёт высказывался так: «Интеллигентный человек. Это ответственное слово. Это так глубоко и серьёзно, что стоило бы почаще думать именно об ответственности за это слово. Начнём с того, что явление это - интеллигентный человек - редкое. Это - беспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется - для созвучия - «подпеть» могучему басу сильного мира всего, разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть правда?», гордость: Неизбежное, мучительное. Если всё это в одном человеке - он интеллигент»

На фоне, так называемого застойного периода, такое толкование выглядело неординарным, рельефным. Сейчас же, скажем так, в эпоху цинизма, оно воспринимается многими, кто преуспел набить себе карманы деньгами, сколотил целое состояние, грабя народ, не только иронично, но и с наглой язвительностью. Всем нам следует прислушаться к этим мудрым словам Шукшина, который, как глубоко совестливый человек, не мог мириться с теми порочными нравами, которые проявлялись в реальной жизни. Его творческая деятель-

ность будила, тормозила общество. Протестуя против злобы и хамства, душевным криком отозвалась его фраза: «Жить противно, жить неохота, когда мы такие».

Почему его творчеству постепенно, нехотя, со скрипом, но всё же открывались двери? Причин тому несколько. Во - первых, его, на первый взгляд, безобидные, лишённые социальной активности литературные произведения, героями которых были люди странные, чудаковатые, этакие балагуры, желающие прихвастнуть и приврать, в целом устраивали разного рода цензоров. Их больше беспокоила диссидентская литература. Таким образом, бравада и бесшабашность героев Шукшина, как бы уведила, как казалось некоторым, от социальных акцентов. Хитрый русский мужик с незапамятных времён любил выдавать себя за простодушного дурачка. Умный писатель Шукшин со своими чудиками обвёл вокруг пальца литературно - критических и идеологических стражников.

Конечно, учитывался интерес к творчеству художника и со стороны первых лиц государства. Например, Л. И. Брежневу фильм «Калина красная» очень понравился. Говорят, что на его просмотре он даже прослезился. Все эти обстоятельства и позволили Шукшину увереннее раскрывать свои творческие возможности и планы.

С невероятной работоспособностью создавал он свои литературные произведения, ставил фильмы, успешно исполнял актёрские роли. Чётче стали выражаться и социальные аспекты его художественных работ. Глубоко осмысливая жизнь, идя от высоких нравственных начал своего народа, с беспокойством наблюдая усиливающиеся тенденции нравственного упадка, душевную чёрствость и плесень определённой части общества, которые достигли в наше время своего пика, Шукшин с горечью спрашивает: «Что с нами происходит?» Не зря писатель 30 лет назад с беспокойством задавал этот вопрос. Если бы общество уже тогда очнулось, то того невероятного безобразия, которое имеется, не было бы.

Подойдя к своему зрелому периоду творчества, Шукшин касался чрезвычайно актуальных проблем, вопросов нравственности и культуры, психологии общества и личности. Если внимательно проследить за литературным творчеством писателя, то чувствуешь, особенно в последних его работах, мощный взрыв негодования, страстный протест против бюрократизма, педантично и хладнокровно разъедающего души людей, против авторитарной системы, которая подминает под себя значительную часть общества.

В окружении своих героев Василий Шукшин шёл к нам с думами и радостями, щедро делясь душевной теплотой. В людях со светлыми душами он видел надежду и опору в этом сложном и противоречивом мире. Герои Шукшина - это простые люди, которые постоянно находятся в трудном поиске счастья, не теряя чуткости и совестливости, чем они и привлекают наше внимание. Именно на этих качествах основываются нормальные, добрые человеческие отношения, которые стали всё реже встречаться в нашей стране. Государственная власть в лице бездарных, высокомерных, грубых представителей, своим казарменным окриком и тупыми приказами, унижая и оскорбляя, изуродовала

души многих людей, породила громадную толпу «шариковых», создала дефицит доброты и порядочности, надругалась над христианской моралью. Не потому ли персонажи в рассказах Шукшина выглядели для некоторых чужаками, странными людьми, что не вписывались в стереотип толпы? Потому и ухватился Шукшин за ассоциативный образ Стеньки Разина уже в начале своего творческого пути, чтобы высказать своё неприятие командно - бюрократической системы управления государством. Через историческую ретроспективу романа «Я пришёл дать вам волю», писатель касался жгучих проблем современности. В этом произведении прослеживается мысль о том, что борьбу против деспотизма власти, плебейского послушания могут возглавить только яркие, свободолюбивые личности, ставящие судьбу народа выше своей жизни. Нужен особый характер Разина или Шукшина, чтобы всколыхнуть общество против всей мерзости нашей жизни. Искромётность Шукшина, несомненно, влияла на образы его героев, придавая им удивительную колоритность и привлекательность. Через творчество этого художника видна страстная, легко ранимая, светлая душа подлинно русского человека.

Отмечая 75-летие со дня рождения Василия Макаровича Шукшина, мы отдаём должное и совестливости этого художника, который испытывал всегда чувство неловкости, стыда перед добропорядочными людьми, которых унижают и оскорбляют. В стране, где процветают хамство, воровство, разбой, где мерзость становится атрибутом высокой материальной обеспеченности, всё меньше людей представляют свой народ, всё более увеличивается толпа с жадностью, безумием, равнодушием и агрессивностью в глазах. И только, пожалуй, люди с божественной добродетелью, испытывающие стыд за все гадости, что происходят в обществе, перед детьми, перед миром, перед Богом, а к ним относился и Василий Шукшин, вселяют нам надежду и веру. Благодаря этим светлым душам будем верить и в Россию.

Артур Рембо

150 лет назад в прекрасной Франции, которая всегда сверкала изумительными личностями, родился Артур Рембо, оставивший гениальный след в истории мировой поэзии.

В такой знаменательный юбилей мы особенно и благодарствуем великолепной Франции за то, что она подарила миру бесценную, удивительную драгоценность, благодаря которой человечество получило возможность бесканечно наслаждаться необыкновенными и богатейшими поэтическими красками и образами. Лично меня, человека уже зрелого, поэзия Рембо взбудоражила, потрясла, перевернула весь внутренний мир, не только расширив его границы, но и, по сути дела, бурным потоком сломав их, раскрепостила таким образом в пространственном и временном измерении. Рембо помог мне увидеть волшебное великолепие Мироздания. Только с его помощью я почувствовал, что наша планета Земля является лучшим творением Всевышнего в космическом пространстве.

Если бы представители иной цивилизации предложили мне рассказать об одном только человеке, чтобы иметь некое представление о внутреннем мире землян, о том, что их больше интересует и волнует, я поведал бы им о творчестве блистательного французского поэта, поразительно яркой, колоритной лич-

ности Артюра Рембо.

Что уж говорить о инопланетянах, если для большинства россиян, следует всё же признать, имя Артюра Рембо (1854–1891 гг.), к сожалению, малоизвестно. В советское время ориентация литературных вкусов носила тенденциозный характер. Сейчас в этом плане обстановка, к счастью, иная.

В истории французской лирики было достаточно имён, которые по своему поэтическому мастерству не уступали, а может быть, иногда и превосходили Рембо. Например, Шарль Бодлер, которого сам Рембо называл «королём поэтов». Или Поль Верлен. И всё же, Артур Рембо — экстраординарная, экстравагантная поэтическая личность в мировой поэзии. Пожалуй, он был самым дерзким поэтом в истории человечества. До Рембо и после — не было в мировой поэзии поэта, который бы за пять лет — с пятнадцатилетнего возраста и до двадцати — создал гениальные произведения и, тут же сознательно покончил с литературной деятельностью. В остальные 18 лет жизни Рембо ничего не написал. Ниже я попытаюсь объяснить, почему это произошло, не претендуя, разумеется, на полную достоверность.

Для его короткой поэтической жизни характерна страстная непримиримость. Но это не означает, что мастерство Рембо ограничивалось юношеским максимализмом. Приходится лишь удивляться его поэтическому дарованию: в его стихах присутствует и поразительная образность («лазурь в соплях и солнце в лишayah», «флаг — окрававленное мясом над шёлком морей»), и безукоризненная словесная передача световой и тепловой энергии, и сочная палитра цвета, оттенки которого невероятно фантастичны («муаровые ленты», «дымчатый газ», «золотой бархат», «рубиновые лозы»).

Поэтическая магия Рембо заключается в том, что его стихосложение возбуждает в человеке достоверную зримость описываемой предметности со всеми её свойствами. В то же время, изображение предметности не является для Рембо самоцелью. Через неё он выражает состояние своей души. Стоит прочитать одно из его лучших произведений, чтобы убедиться в этом. Состояние же его души — это жгучее стремление выскочить из рамок привычных ощущений. На это способны лишь одарённые, чрезвычайно незаурядные личности. По мнению выдающегося американского писателя Г. Миллера (кстати сказать, из его грандиозного художественно-философского эссе «Время убийц» я впервые и основательно узнал об Артюре Рембо): «тип Рембо вытеснит в будущем тип Гамлета и тип Фауста». Смелое заявление!

Однако, думаю, что он прав. Гамлет и Фауст — это лишь грани гигантской фигуры Рембо, с его головокружительным, захватывающим дух внутренним миром.

Вся поэзия Рембо проникнута насковью отрицанием существующего миропорядка, потому что он видел в нём ханжество, фальшь, пошлость, бесконечную суету. Для Рембо миропорядок — это не только нравы, устои общества. Это и сам он. И отрицает в себе поэт ту упорядоченность, ту стереотипность, что сковывает его, цепко держит в рамках заданного кем = то мироздания. И Рембо неистово кипит, яростно бунтует, отрицая всякий конформизм, который проник в психологию личности и всякого общества в целом. Прошло сто с лишним лет, а Рембо, живя бы в современной России, заработал бы себе, уверен, сердечную болезнь, как и автор этих строк, негодую и клопоча от безобразия и хамства, унижения и оскорбления, от лицемерия и продажности, с которыми повседневно сталкивается даже в нашем городе нормальный человек. Великий бунтарь пытался вырваться из прошлого и настоящего. Он всегда стремился, рвался в будущее,

где отсутствует «скука мирового безобразья», если использовать меткое выражение замечательного русского поэта Георгия Иванова, долго и незаслуженно забытого в России, который, как никто в русской поэзии, близок по умонастроению к Рембо.

Почему же этот поэтический маг навсегда покинул поэзию? Тот же Г.Миллер объяснял это тем, что «как поэт, он уже сказал всё, что мог «Возможно. Но позволю себе предположить и другое: Рембо так «прохлорофмировал» (как однажды удачно выразился Г.Иванов) своё сознание, что необходимость для него в поэзии исчезла. Как поэт он мог ещё выразить себя. Но ему это уже не нужно было, ибо поэзия сделала своё дело, выведя его на орбиту созерцательного мировосприятия, что ведёт к полной отрешённости от активных духовных исканий, о чём, если не ошибаюсь, проповедовал ещё древнейший Лао - Цзы.

Почему Рембо, бунтарь из бунтарей, скиталец и бродяга, побывавший во многих странах мира, которому западноевропейские бывшие хиппи и нынешние российские бомжи даже в подметки не годятся, богохульник, писавший «смерть Богу», в конце жизни выразил редкую веру в божественное начало?

Говорят священник, исповедавший Рембо, сказал его сестре: «Ваш брат верует, дитя моё: Он верует, и мне ещё не доводилось видеть столь глубокой веры». Думается, что его трансформация от христианского отступника, до глубоко верующего человека, объясняется, помимо всего прочего, и тем, что творчество некоторых гениальных личностей проходит какой-то этап тягостного и дерзкого разрыва с Богом. Абсолютизация свободы, которую взваливает на себя гордый человек, думая, что он, как говорится, пуп земли, является непомерной ношей для него. Но потом, через творческие муки и иные страдания (а их на долю Рембо хватило через край), наступает прозрение. Только человек с могучим духом находит в себе силы признать свою неправоту и, тем самым, покаяться.

Вот уже 113 лет не бьётся пламенное сердце змечательного французского поэта. Но его вклад в мировую литературу, в культуру мысли и чувств, ощущается до сих пор. Многие великие художники кисти и слова XX=го века, создавая свои шедевры, испытали, несомненно, влияние творчества Рембо. Вглядываясь в картины Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, читая Франца Кафку, Джеймса Джойса, Генри Миллера, Хулио Кортасара и других авангардистов, чувствуешь их связь с Рембо, который утверждал: «Мы должны быть безусловно современными». Современность! Вот квинтэссенция творчества и всей жизни Рембо. Он всегда будет оставаться актуальным, потому, что в его душе и сердце порисходило то же, что бурлит и в нас. И уверен. Это же самое будут испытывать, переживать люди будущих времён.

Александр Надыктов.

Александр Геннадьевич НАДЫКТОВ родился в 1946 году. Русский. Учился в МГУ. Автор многих публицистических и литературно-критических работ. Его статьи и зарисовки публиковались на страницах газет и журналов на Украине и в Ульяновской области.

Независимый публицист. С 1993 года живет и работает в Димитровграде. В журнале «Черемшан» выступает впервые. Мы предоставляем ему свои страницы, находя важным и краеведчески значимыми (наш автор!) его последние литературоведческие работы.

УШЕДШЕЕ...



В издательстве Казанского государственного университета наконец-то вышла в свет долгожданная книга бывшего студента факультета журналистики, мелекессца, члена Союза писателей России, лейтенанта органов юстиции Вячеслава ПЕРВУШИНА. Слава погиб, недожив даже до своего сорокалетия. Нелепо, на самом восхождении своего таланта, признания... Говорят, что Бог всегда первыми прибирает ...лучших! Но всем нам от этого не легче, остается надеяться, что убийцы его, настоящие, еще будут названы поименно, и кара им будет еще более страшная...

«Иль это я приснился этой жизни...» - книга Первушина обретена нашими читателями, благодаря спонсорской помощи «Автостара», «Саланга», «Биотона», «Кометы», горадминистрации, кропотливой работе по составлению произведений районного молодежного литературного клуба «Костер», родным Вячеслава, городской писательской организации, лично - О. Гузаевой, Н. Суровяткиной, Г. Русановой, председателю ЛДПР В. Жириновскому.

Большая часть Славиного творчества, разбросанного публикациями по многим газетам, журналам, альманахам и сборникам по всему СНГ, вобрала в себя эта его вторая книга, над которой он и сам долго, кропотливо и придирчиво работал последние годы. Оценка писателю Первушину (причем, самая высокая) была дана на Всероссийском совещании молодых писателей в г. Отрадном, где его и принимали в творческий союз на выездном заседании Правления Союза писателей России. Потому еще долгожданная встреча со стихами, рассказами, повестями автора, стала столь волнующа.

В сентябре в Дмитровграде состоится презентация этого труда. Там же книгу можно будет и приобрести. Редакция «Черемшана» надеется еще не раз познакомить своих читателей с творчеством Первушина. Смотрите наши публикации регулярно!

В. Домбровский.

В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО...

1. ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ

Конечно, культурная столица Поволжья - должна быть, прежде всего, чистой! А, вот прекрасной, - должна бы быть, но ... не обязана... Обещаний того, что жить мы будем богаче, дешевле, удобнее, - нынешний мэр-С.И. Морозов, - насколько я помню, - не давал! А вот - «среднеевропейский» уровень культуры, - сделать решил. И-сделал!

В одночасье, подневолью, в городке появились тысячи плевательниц... А мы, все пытаемся плюнуть помимо них...

Появились и новые скверы-приюты для бомжей и алкашей! Где выстраивают они свои шалаши и чумы. А вокруг... все памятники да бюсты именитых горожан... «Надули» на каждом углу пивбары. Теперь, есть где обирать молодежь, которая обильно орошает мочой и ее ароматами прилегающие кварталы...

«Отпели» нас под «фанеру» элитные сливки - шабашники от ПФО и Москвы, уже разорившие под свои завывания Россию, ставшие символами культурных столиц. А руководитель всего этого шабаша - наш гость - полпред Путина - по кличке: «Киндер-сюрприз», В. Кириенко (нет-урожденный-Израиль), после разорения всей страны, укупивший на свои дивиденды от нашего обнищания почетную отставку и нехилую должность у гэбэшников.

Итак, - Димитровград под мудрым руководством... стал родоначальником плевательниц, сквернов, мочевины, но - уважаемым, в лице С.И. Морозова, - «Киндер-сюрпризом». Что же приобрели димитровградцы? Кроме наших «тусующихся дебилов» и тех, кто уже посажен «на иглу», - все остальные удивленно смотрят на образовавшиеся «черные дыры» в их мозгах и личном бюджете. Хорошо понимая, что нам только еще плевательниц нехватало! Вот и расплевываемся во все стороны, прижатые новыми «прогрессивными» тарифами...

2. МУСОРИКИ!

Культурная столица, - по моему разумению, - это город, в котором не только плевательниц много на каждом углу (понятно, что «подполно-своя» фирмочка - может не только урны изготавливать по «спецзаказу», но и тротуарную плитку, электрофонари, «подшву под покрытие», асфальт...) - а и разумное совмещение своих шизоидных замыслов - с реалиями. Да, - не тут-то было!

Помните анекдот из советских времен? На Красной площади мужик в рупор кричит:

-Масла-нет! Хлеба-нет! Мяса-нет! Позор КПСС!

Хватают его гэбэшники, тащат на Лубянку. Но, поскольку уже и у них действует общечеловеческое «мышление», через час, легко напивав, отпускают. Мужик снова бежит на Красную площадь и кричит в тот же рупор:

-Я же говорил! И патронов у них тоже НЕТ!

Оказалось, что как и у многих анекдотов - у этого есть свое подтверждение: в нашем городе, при наших градоначальниках, теперь нет ни чугуна, ни мрамора, ни титана, даже ... гипса нет, чтобы построить в Димитровграде хоть какой-то памятник или скульптурку! Потому в «культурной столице», на всеобщий позор, был объявлен конкурс скульпторов (настоящие, - наплевали в урны на призыв идиотов), которые смогут создать и установить в и так-нечистом экологически городке- свои «творения» из... мусора или помоев! И, ведь нашли этих идиотов, построивших из падали уродов, удостоившись назваться в нашем просвещенном Димитровграде скульпторами! Теперь эти, -съеденные однажды, и испражненные детали «морозовских скульптур», украшают» город, но -на всякий случай- подальше от резиденции мэра, чтоб не так сильно перло от них... Так и будем жить в столице, где говно правит бал?

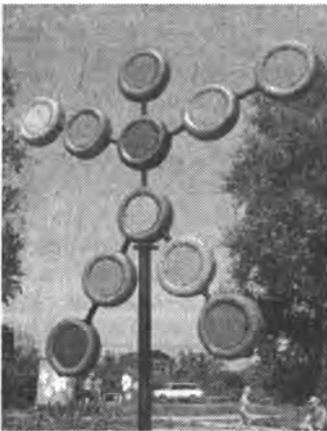
3.»ТРУЗИНСКИЙ АКЦЕНТ»

У всех на слуху - одиозное имя «великого» московского ваятеля Зураба Церетели... А у нас уже культивированы свои «грузины»! Рядом с мусорщиками возрастают новые помощники. Ужасные, сплюснутые гипсом или глиной скульптурные панно, формы, с претенциозными кличками, - уже не увлекают

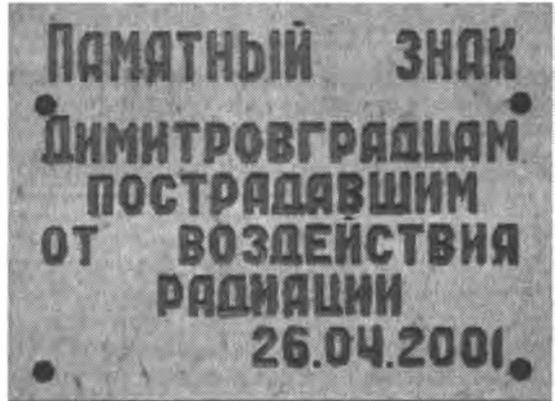


Семейство мамонтов, появившихся прямо по назначению хобота у... магазина «Эрос», - венец ландшафтного оформления «столицы», оскорбляющий вывеской Ульяновск и Самару. А если еще, господ, поднатужите извилины?..





Да, «им» Бразилия ближе, чем русские сказки... Символ «КС» - «Лошарик» (?). Хотя лошарик - это, сделанная девочкой из шарика - Лошадка по кличке «Ло - Шарик». А у «морозовцев» выходит «Чешарик» что-ли?



Убедительно!

Оказывается, по вине «грамотеев», пишущих на памятных досках,- все мы 26.04.2001 г. были облучены! Мы - жертвы НИИАРа?

автора. В культурной столице - подавай ей «церетелевский» размах!

Вот О. Юдинских и вознамерилась поставить на...проспекте Ленина, западший ей в душу вдохновенный монумент- «Ангела примирения»! Это - кого с кем же? Его титановая «накачка», всеобъемлящие крыла - явно не православного значения...

Порывшись в наших Церковных Канонах, мы можем убедиться, что Ангел-хранитель дается при крещении Господом-ОДИН раз, ИНДИВИДУАЛЬНО, каждому - СВОЙ!

По библейскому понятию - Ангел - один для всех,- это Падший Ангел, или изгнанный Господом из Горного Приюта греховник, искуситель - Бес или - черный «Князь Мира сего», который -да, пытается объединить и примирить всех и сразу... в Аду, своей Обители!

«Грузинский акцент» в устремлениях и дизайнера-модерниста, и маньяка от искусства Никоса Софронова, «окучивающих» своей бесовской миссией власти и «культстолицу», как нельзя лучше отвечают чаяниям прозападных, католицизированных «агентов влияния», уже добравшихся до спасительного приюта душ наших в российской глухомани. «Прописка же в чертогах» горадминистрации им уже обеспечена. Оборони, Господи, нас от этаких бесов.

IV. СЛО՞ЗОбЛУДЫ

И вот поставили недоумки, восторженные олигофрены от Русской словесности, - рядом со зданием своей «ущербной» школы 24 и детской клиники (а где же еще такое и возможно?), памятник своему « умному наукограду»- т.н. «Сквер актуальной словесности»! Сквер-от скверного. Актуальная словесность-от совсем уж матерного...

По их задумке: мамки с ущербными, видимо, детьми, должны ходить меж жирафов и дубов, увитых цепями, и повторять зомбировано перл «актуальной словесности»: «Ё-К-Л-МН...»- эти, высеченные в двухметровом формате, даже для очень либерального словаря В. Даля - срамные слова! Перевод их с «фени» очень прост - то же, что и «...твою мать!» НУ, актуальнее-некуда! С намеком, что при бывшем менте-мэре, всем нам остается постигать этукую «словесность» в исправительно-трудовых колониях, самых «культурных» и многочисленных учреждениях Димитровграда. Ох, П-Р-С-Т!

Веками лучшие литературные умы Мелекесса-Димитровграда пытались привить чувство Русского Слова, Культуру письменного общения своим согражданам. Оттого, выходцы из русского городка всегда были приняты, как хранители самых сокровенных национальных ценностей в России. Это-известные



Бедная бабушка! Ей и невдомек, что это - АКТУАЛЬНАЯ, а не русская словесность! Подобной и наглядной матерщины многие димитровградцы еще в жизни никогда не видели..

Теперь вот, расписуют наши фасады, те кто делают из города и нас - «Африканский зоопарк». Кто же? Это - победитель конкурса проектов «КС». Но совсем не ученый и писатель-краевед Ф. Касимов, предложивший уникальную работу! Это - опять - молодой архитектор и, что подозрительно, не Иванов, а Н. Рабинович...

Вот оно - то самое, любимое «мэрское» изречение по отношению к детям! Учтите, ребятки, пока нами управляют такие дяди - бяки!



филологи, лингвисты, журналисты, писатели-лауреаты госпремий за свой подвижнический труд! Нынешняя администрация профанов и наймитов пытается нивелировать это подвижничество на свой лад! Полноте, господа...

Неужто, вы думаете, что та похабщина, что написана вашими руками не на заборах, тайно, а - открыто на скамейках сквера, кого-то обманет?

Вот, кто же не отгадает, а ваша «загадка» - только для вас и загадочна:

«Буква «Б» - с большим брюшком,-

В кепке-с длинным козырьком?...»

Ясно, что для любого грамотного русского человека - это грузин (опять?), и, скорее всего, по-фамилии «Б-э-рия»!

А, каково изречение-порнография актуальности, мыслетворчества «морозовцев»:

«У»- сучок!

В любом лесу,

Ты увидишь букву-

«...У-У-У»!

Маньяки от новой власти заполонили наш город! И все они, как ни странно, - нетрадиционалы! Видимо, иповедуемый ими «задний» подход к культуре и словесности в отношениях, - это и есть, в их понимании, «культурная столица Поволжья». Срам!

V. «КАТРИЗЫ» ОТ ГЛАЗЫ

Словесностью нас попутали в этом году еще раз! На Аллее журналистов стараниями наших пресс-руководителей, на фонарных столбах (уж это-то совсем традиционно для России!) - повесили на металлосвитках изречения, счетом - в «очко»-21. Правда, теперь их всего 16 осталось. Предприимчивые горожане, как всегда этому «добру» нашли применение на своих дачах...

Дело в другом, - из 21, лишь трое отдаленно имеют отношение к русской журналистике: А. Аграновский, ... Чехов... Лужков! Все остальное «ПЕРЛО» - касается прессы и авторов совсем другого обучения. Что в нашем, российском курсе по журналистике, именуется «Зарубежная печать»! Но, это недоступно неучам из горадминистрации, они университетов, как и Горький, как и другие нынешние «столичные горьковчане» - не кончали. Кончали в чем-то другом...

Вся эта «культурная наплевательность» на образование, науки, искусства, - в конечном счете, роднит Главу города и «проморозовскую» рать с челноками, безродными и невежественными людьми, которые «тарят» на себе груз поддельного шорпотреба, сбываемый дуракам на рынках! Большему их, к сожалению, в их околоскверных школах не учили...

В газетах города, надзор за которыми мы на выборах возложили на опытного милицейского сыскаря и юриста, идет пропаганда «челночных» удовольствий, запрещенных законом, и не только в культурных столицах. Но... я уже говорил, что учеба-дуракам не впрок! Кто ж это, всерьез, законы нынче в горад-

министрации «продвинутой» столицы учит! Свои - сами пишем! Потому совсем уж «культурный» акт предлагается нам публично, с ведома и «крышевания» горадминистрации самый срамной, половой! Фирмы «Каприз», «Ангелика»- и иже с ними, заполнили газеты своей рекламой: «девушек по вызову, доставляющих массу разнообразных удовольствий»... Бордели со шлюхами разными - стали последним писком морозовской моды в Поволжье. Правда, есть еще один способ отъема денег у доверчивых, нищих избирателей! В Дмитровграде, при С.Морозове, не стало писателей,актеров,композиторов, пущено по-ветру наше муниципальное имущество,- зато на каждом городском километре теперь внедрены ломбарды,за бесценнок скупающие пока оставшиеся у народа фамильные драгоценности. Есть еще с чего «шерсть стричу» столичных, окультуренных людей? А кто за вас долги платить будет!

В. Устинов.



Наш обзор - детский лепет по сравнению с теми хунвейбинскими росписями по городу, которые устроили молодцы из национал-большевистской партии и АКМ! На останках уже висят их прямые угрозы: «Только вооружившись,- мы освободим город от такого мэра!»...

Но, с другой стороны, плакаты НБП выглядят лучше, чем призывы «новых русских» к ветеранам оскоромиться стриптизом в... Гагарине 1 мая, а «Орбите» - 9-го!





Наглядная агитация в культурной олице была сделана прямо на пути следования по НАШИМ улицам «Киндера-Сюрприза», видимо, в назидание ему. И не только... Вот президента Путина, подобострасно попытались затереть, но, «черного кобеля - не отмоешь»...

Поэтому применили свой дебильный прием: разукрасили гаражи цветочками, даже не испросив согласия владельцев, испортили чужую собственность.

Ребята из НБП Лимонова-писателя и АКМ! А может быть вам сконцентрироваться на одной только, малой проблеме; в одной тоже малой, но столочке, да потрясти здесь власть по-настоящему? Ведь это «ярмо» уже всех нас сильно жмет...

Огонь - по их сытым фейсам тухлыми яйцами!



НА ЗЛОБУ ДНЯ

Служить Литературе или
Диктатуре?
Что предпочесть, грозящей мглою буре?
Морг разума, украшенный коврами?
И пресмыкаться перед
Дураками?..

Опущение
в клоаку власти -
происходит радостно!
Отчасти...

Наши бывшие «идейные» кумиры,
резво изменив ориентиры,
совести зажуривав мега-дыры,
шустро перекинулись в «банкиры»-
темных сил
всесильные
вампиры...

Ошалевшие чинуши,
распродажнейшие души,
вешают лапшу на уши!
Продолжают бить баклуши.
Прикрываясь Ильичем,
«Праведным» идут путем...
В сатанинском хороводе размышляют
о народе:
как с него сто шкур содрать,
и-до нитки обобрать?!

Меняют души
на квартиры...
Тела меняют на авто...
Смакуют «левую» текилу
и плевые сокрушают зло...

Всю Россию распродали,
сами холоями стали!
Возмутившись, в позу встали:
«Держи вора!» - возрптали.

Развлечения для тела да ночные кутежи -
предлагают молодежи «государевы» мужи...
Иллюзии да клоунада...
Чего еще народу надо?

Словесности не актуальной,
но виртуальной, ирреальной
мы обучаем малышей...
По «фене ботаем» нахально,
жизнь объясняем тривиально,
спешим раздумья гнать
взашей!

Утонченно извращен
творческий процесс познания...
Платное, никчемное «цветет» образование...
Взятками и диким сексом добывается диплом...
Наслаждается невежеством
спонсорский публичный Дом.

Идея фикс: «Культурная столица»!
Свежо предание...
Смешная небылица!

II

В культурной столице Поволжья -
культуры не стало больше...
Странных памятников понаставили:
власти культ обожать заставили...

III

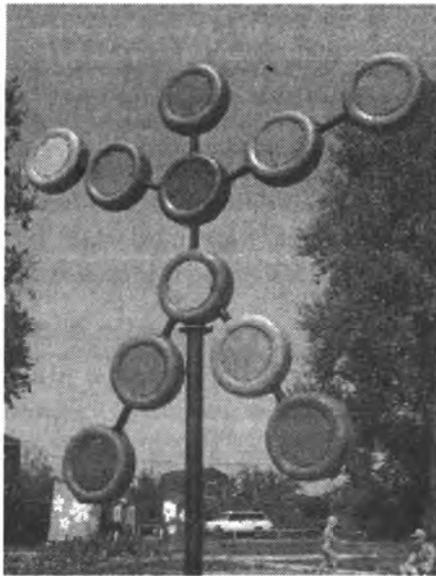
Днем столицы обозвался общегородской
гипноз...
Или это наблюдался кратковременный невроз?
Был экстазом возбужден героический психоз...
Пред толпой довольных адом, откровенно,
в полный рост,-
стены древнего посада прошептали тщетно:
«SOS»...

IV

**Музей под открытым небом -
набит до отказа «стебом»...
Бело-красный, символичный... фаллос,-
Децибеллов полудиких хаос...
Травмо-неизбежная брусчатка...
Хамства, спеси, гонора -
«тройчатка»!**

V

**Жаждет статусом прикрыться
криминальная «столица»...
Не извольте суетиться,
респектабельные лица,-
соизвольте согласиться,
здравым смыслом поступиться:
дайте директиву Ленину-
растопырить пальцы
ввером!**



ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

(Окончание. Начало -
в № 2-3 за 2004 г.)
Журнальный вариант



1. ТРУДНЫЕ ДНИ

Тяжело жить в городе, где много родных могил. И особенно тяжело, если это городок маленький и его можно пройти из конца в конец за какие-нибудь полтора часа. Впервые я понял это в 1920 году, когда умерла Подсолнышка и когда маму увезли в колонию душевнобольных.

Во время жизни еще не научила меня перешагивать со стиснутыми зубами через дорогие могилы. Ведь не прошло и полгода с тех пор, как расстреляли отца и, как сгорела на мосту Оля, я еще по - детски судорожно плакал по ночам, вспоминая их, а тут - новая смерть и новое несчастье.

Из моей жизни почти сразу ушли все, кто был мне дорог, а новых друзей я еще не успел нажить, ни к кому не успел наново привязаться. Пока была жива Подсолнышка, пока рядом со мной была мать, я думал, что только, на меня они могут опереться, и считал себя, несмотря на свои пятнадцать лет, главой семьи. А когда их не стало, когда мне уже не о ком было заботиться, я почувствовал, что у меня нет ни желания, ни сил жить.

В щербатых уличных мостовых лежали камни, по которым ступали босые ножки Подсолнышки, вдоль тротуара стояли тополя, к которым прикасалась худенькая ладонь Оли, в самом центре города, на Церковной площади, переименованной в площадь Павших борцов, за низеньким штакетником высилась сколоченная из досок и выкрашенная охрой пирамидка, украшенная жестяной пятиконечной звездой, - под ней вместе с тридцатью своими товарищами лежал отец.

Все в этом городе напоминало мне о самых дорогих, о самых близких людях, о тех, кто никогда не вернется. И мне было очень трудно жить здесь.

Может быть, я тогда и не думал так, может быть, вообще не думал об этом, но неизвестная мне, беспокойная сила - без всяких раздумий и объяснений - гнала меня прочь из родных мест. Раньше, в мечтах, революция рисовалась мне как сплошной, непрерывный праздник ликующего, победившего народа. А на самом деле жить было так же голодно и холодно, как раньше, и большинство из нас были очень плохо одеты.

Это шло вразрез с моими наивными, мальчишескими представлениями о революции и только усиливало желание уехать из родного города.

Конечно, были и праздники. Становилось известно об очередке победы на одном из фронтов или о пуске восстановленного завода, и сам собой вспыхивал митинг, и звучала, взлетая над землей, мелодия "Интернационала", волновавшая в те дни так, что само сердце комом поднималось к горлу и слезы застилали глаза. На таких митингах без заранее заготовленных шаргалок говорились горячие, искрящиеся радостью слова. Во весь голос мы пели революционные песни, и это было как снова и снова повторяемая присяга революции, и трудности, казалось, отступали на второй план и становились легко одолжимыми, и недалеко впереди виделась заря по-настоящему счастливого - без голода и холода - дня.

Да и само ощущение свободы, с каким я - и не один я! - ходил тогда по освобожденному революцией городу, сознание, что теперь никто не может меня оскорбить или унижить, радость, что все бывшие "хозяева", все эти купцы и заводчики, тегины и барутины, навсегда ушли из жизни города и из жизни любого из нас, - это чувство само по себе опьяняло, наполняло сердце надеждой.

И все-таки было трудно.

Мне казалось, что в жизни случилось что-то неправильное, что какая-то часть революции погибла вместе с отцом. Казалось, останься он жив - и все в нашем городе было бы иначе, лучше. Эти мысли причиняли мне почти физическую боль, против воли я становился угрюмым и раздражительным. И только к маленькой, угасавшей Подсолнышке я относился по-прежнему: нежность и жалость к этому милому и беспомощному человечку переполняли меня, - может быть, именно невозможность помочь сестренке и делала меня грубым и злым с другими.

И еще мне казалось, что, будь жив отец, мы бы с ним ни за что не остались в этом городе, а были бы там, где шли бои, где продолжалась ожесточенная борьба за революцию.

Да, бои тогда еще шли. Приходя в уком, я прежде всего с жадностью набрасывался на газеты, на шершавые, замусоленные серые листки "Правды" и "Известий", читал и десятки раз перечитывал коротенькие сообщения с фронтов, неприукрашенные рассказы о героических делах. Бои тогда шли на Северном и Западном фронтах, на Южном и Юго-Восточном, на Туркестанском и в глубине Сибири. Колчак и его министры, гоня впереди своего бронепоезда семь вагонов с украденным в Казани золотом и серебром, подходили к Иркутску; Деникин давал пространные интервью английским и американским корреспондентам в Ростове и Таганроге. Юденич воздвигал виселицы для коммунистов в Эстонии. В Одесском порту, оцетинившись дулами орудий, стояли и не собирались уходить военные корабли Антанты.

В нашем городе с заборов и стен домов крупными афишными буквами кричали воззвания: "Бросьте все, что можно, на фронт! Готовьте поезда с оружием, хлебом, одеждой! Да здравствует солидарность станка и винтовки!" По селам и городам Поволжья шла мобилизация, дядя Коля и другие укомовцы то и дело выезжали для ее проведения, а контрики по ночам писали углем и мелом на заборах, рядом с воззваниями: "Далой мобилизацию, далой разверстку! Дай соли, гад, дай ситцу!"

Меня неудержимо тянуло на фронт, и, если бы не Подсолнышка и не мать, которая, как мне кажется, уже тогда начинала терять рассудок, я, конечно, еще зимой уехал бы, ушел пешком. Помню, я вырвал из "Правды" и носил с собой кусок, страницы, где было напечатано маленькое сообщение с фронта. Я выучил его наизусть, оно врезалось мне в память так, что даже теперь, через сорок лет, я помню его слепые,

полустертые строчки:

“С прискорбием сообщая о смерти замвоенполка товарища Ипатова, последовавшей 16 декабря на Радомысловском распределительном пункте от тифа. Покойный находился в непрерывных боях, вынес всю тяжесть боев под Фастовом, находясь все время впереди, заслужив любовь и доверие красноармейцев. Тиф помешал мне отдать последний долг товарищу и своевременно сообщить вам. Примите меры к обеспечению семьи, погибший очень беспокоился о ней. По годам он призыву не подлежал. Р а б и ч е в”.

Я тоже по годам призыву не подлежал. Может быть, он был моим сверстником, этот умерший в тифозном бреду замвоенполка, может быть, и даже наверное, у него были где-то и мать и какая-нибудь Подсолнышка - иначе он не вспоминал бы о семье перед смертью. Я чувствовал себя в долгу перед ним, перед этим молодым командиром, отдавшим революции все, даже самую жизнь. Я ощущал его как живой укор мне, якобы променявшему борьбу за революцию на мирное и сравнительно спокойное, хотя и голодное житье. Однажды он даже приснился мне - высокий и бледный, в крови, с неразличимыми, расплывающимися чертами, подошел к моей постели и сказал: “Эй ты, контра, вставай!”

Даже участь малолетнего сына генерала Брусилова, приговоренного военным советом при Деникине к смертной казни за то, что отец его сражался в рядах Красной Армии, даже такая судьба казалась мне тогда завидной и героической.

Странно, но я не хотел видеть, не хотел понимать, что не меньше, чем погибший на фронте Ипатов, а гораздо, может быть, больше для окончательного торжества революции делает наш военный комиссар Сергей Вандышев или безногий уездный продовольственный комиссар дядя Коля, день и ночь носившийся по городу на потерявших лоск бывших барутинских, а теперь укомовских жеребцах, - недаром в дядю Колю в течение недели дважды стреляли из-за угла. Я знал, конечно, что без ног на фронте делать нечего, и все-таки, вопреки здравому смыслу, где-то в глубине души готов был считать дядю Колю чуть не отступником. Вероятно, в этом было повинно и чувство зависти, которое я против воли испытывал к Юрке: у него хотя и безногий, но был отец. Не могу передать, как щемило у меня сердце, когда я видел, что дядя Коля, довольный каким-нибудь Юркиным поступком, отечески треплет его по плечу, - мое плечо так ждало прикосновения отцовской ладони. Правда, в тех случаях, когда это происходило при мне, дядя Коля не раз спохватывался и так же похлопывал по плечу и меня. Но от этого моя глупая обида на Юрку только росла: я не хотел чужого, не хотел милостыни.

Юрка теперь носил черную узенькую повязку, закрывавшую выбитый глаз, - это необъяснимым, притягательным образом красило его повзрослевшее, с полоской намекающихся усиков худое лицо. Вот даже в этом, казалось, обошла меня тогда несправедливая судьба. Мы вместе с Юркой и Олей подожгли нужных белякам мост, нас с Юркой поймали и чуть не убили, а Оля так и сгорела на мосту. Из-за этого поджога Юрка стал красивее, привлекательнее, его как бы отметила, выделила из толпы печать героизма, а у меня теперь были выбиты три передних зуба - это делало меня некрасивым, мешало мне говорить, мешало смеяться, - я буквально старался не раскрывать рта. Глупо, но я иногда даже радовался тому, что Оля погибла: хоть она-то не могла видеть теперь моего лица. Мама утешала меня, что, когда вырасту да заработаю денег, можно будет вставить золотые, а Подсолнышка, та верила, что зубы у меня скоро вырастут новые, “еще лучше”, и частенько, чтобы утешить меня, просила дать “пощупать пальчиком - может, выросли?” Эта ее смешная, наивная вера немного успо-

каивала и утешала меня.

2. НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

Осенью мы с Юркой работали на восстановлении взорванного белыми железнодорожного полотна и разрушенной снарядами вокзальной водоканчки, а потом, когда из Самары прибыл специальный восстановительный отряд трудармии, помогли на ремонте моста через Чармыш.

Осень была ветреная и злая, почти все время шли дожди и дул северный, ледяной, пронизывающий до костей ветер. Старенькая, простреленная в двух местах шинелишка, выданная мне в цейхгаузе Чека по записке Вандышева, совершенно не грела; рукавиц не было. К вечеру онемевшие от холода и работы пальцы уже не могли держать ни кирку, ни лопату, ноги в худых, разбитых солдатских ботинках деревенели. Счастьем было отбежать в сторону* подбростить в костер обломки старых, пропитанных смолой и мазутом шпал, погреть над огнем руки и из ржавой жестяной кружки напиток горячей воды. Никогда не пил ничего вкуснее!

Приходя домой, я почти без слов, кое-как похлебав маминого варева, валился в свой угол и засыпал, иногда даже не сняв ботинок. В таких случаях Подсолнышка разувала меня как умела.

Мы жили на Северном Выгоне в маленьком домике с огромной русской печью, занимавшей большую половину жилья,— туда мы переехали из подвала на Тюремной стороне. Мама наотрез отказалась перебираться в реквизированный у буржуев особняк, хотя дядя Коля и всячески упрашивал ее, и ругался с ней, и даже, в пылу гнева, угрожал наганом.

— А куда я денусь с детьми, когда вы еще раз побежите из города? - тихо, почти без всякого выражения спрашивала мама.

— Мы не бежали, мы отступали! - кричал дядя Коля, и лицо его пятнами темнело. - Дура ты, Дашка! Ведь революция прежде всего для них, для детишек делалась! — и тыкал коротким, прокуренным, еще черным от сапожного вара пальцем в Сашеньку. — Чтобы они не помирали без времени.

— Без воли божьей ни один не умрет, — кротко упиралась мать.

Дядя Коля остервенело плевался и, ковыляя на своих коротких обрубках, отправлялся за ворота, где его ждала пролетка.

Спорить с мамой было совершенно бесполезно. Ее исстрадавшееся, похудевшее лицо выражало непреклонную решимость, в нем было что-то от старинных икон — та же суровая, печальная красота, тот же взгляд, как бы видящий нечто, невидимое другими. С каждым днем она становилась все набожнее, в нашем нищем домишке всё чаще можно было застать каких-нибудь странников или странниц, монашек, юродствующих и побирушек Христа ради, расстриженных попов, убежавших из родных мест. В переднем углу перед иконой богородицы все время горела копилка, заменявшая лампаду.

Я с грустью подмечал, как неизвестнаемо изменилась мама после смерти отца, как будто с его смертью и в ней умерло что-то. У нее были теперь очень худые, темные и все-таки полупрозрачные руки. И опять-таки странно: несмотря на предельную физическую истощенность, она выглядела в ту последнюю осень более крепкой, более сильной, чем всегда, как будто вера в бога действительно придавала ей силы. Она стала похожа на легкую, почти невесомую птицу и все делала удивительно легко.

Особенно, помню, поразило меня такое событие. Глубокой осенью, в дожди и сылоть, взяв на руки завернутую в теплое одеяло Подсолнышку, мама прошла по непролазной грязи, в которой топились лошади, несколько километров. Это произошло в дни,

когда в одном из ближайших богатых сел, кажется в Езыклинском, попы “подымали навстречу голоду” икону “чудотворной” казанской божьей матери. Странники и монашки, навещавшие наш дом, убедили маму, что “чудотворная”, если она будет пронесена над больным ребенком, исцелит его — надо только встать на пути иконы на колени. И наша бедная мамка с Подсолнышкой на руках пошла навстречу иконе, веря в чудо. Чуда, конечно, не произошло, наоборот, именно с тех пор болезнь Сашеньки, даже названия которой тогда никто не знал, начала стремительно развиваться. Однако это не поколебало маминую веру; те же “божьи люди” объяснили ей, что “заступница” не совершила чуда потому, что была разгневана на людей: за гражданскую войну — брат шел на брата и сын на отца, за реки пролитой крови, за безбожников-большевиков, закрывающих церкви и монастыри.

В городе было тихо. Чугунолитейный не работал, мельницы стояли, двери маленьких кустарных мастерских были заколочены досками, казалось, навсегда. Лавки открывались только в день выдачи хлеба, селедок или конины.

И только базар, чудовищно разросшийся, шумел с утра до вечера тысячами голосов. Там продавали и покупали все, что угодно, — от жестяных кладбищенских венков и восковых цветов с подвенечного платья столетней давности до свиных окороков и чудом занесенного в наш город японского гашиша. И навсегда победившая советская власть признавалась этим торжищем настолько непрочной, настолько временной, что в уплату за любые блага охотнее всего принимались “николаевки”, которых оставалось еще немало по всевозможным укладкам и сундукам.

В один из самых тяжелых для нас дней и мама отнесла на рынок последнее, что она еще берегла “на черный день”, — свою единственную праздничную желтую кофточку и тоненькое обручальное колечко, которое “все равно спадало с пальца” — от худобы. Взамен она принесла чугунок картошки и небольшую подмороженную тыкву.

В ноябре ремонт железнодорожных путей был закончен, поездка пошла. И сразу город охватила тревога, смутная, темная, готовая каждую минуту взорваться криком, бунтом, пожаром. Опять по ночам стали частенько постреливать из-за угла в коммунистов, а из деревень привозить продотрядников со вспоротыми и набитыми землей животами. Эта тревога усиливалась от разговоров о том, что “комиссары” собираются вывозить с мельниц оставшийся там хлеб. Часть этого хлеба действительно предстояло отправить по распоряжению Совнаркома голодающему Петрограду.

В конце месяца ударили морозы, в том году особенно жестокие, до сорока градусов. Калетинский пруд за одну ночь покрылся льдом, и по нему, вдоль торчащих из снега обгорелых свай сожженного нами моста, проложили дорогу от мельницы на вокзал. По этой дороге и начали возить с мельницы хлеб. И мельница, и эшелоны, стоявшие на путях, и сам вокзал охранялись пулеметами: вокруг города в опасной близости рыскали остатки разгромленных сапожковских банд.

Подводы с хлебом в пути до вокзала охраняли мы — девять человек первой коммунистической ячейки молодежи. Нам выдали кое-какое обмундирование и винтовки; только три из них были исправны — этого, конечно, никто, кроме нас, не знал. Командовал нами Юрка. Никогда не забуду, какими ненавидящими глазами провожали нас обыватели, когда мы, с винтовками наперевес, шагали вдоль возов с хлебом, какой только бранью нас не осыпали! Мы были и “сволочью”, и “паразитами, жиреющими на чужой крови”, по нас “уже давно плакали виселицы”, мы, конечно, тайком “увозили себе домой каждую ночь по мешку муки”.

Мы сами тогда едва держались на ногах от голода, и дома у нас сидели голодные

родные, и пределом мечтаний для нас была горячая жиденькая затируха. Но я не унес с мельницы ни одной щепотки муки и, как это ни наивно, до сих пор испытываю чувство радости и гордости: я не взял ни одного хлебного зерна из тех, что были нужны революции.

Единственное, что я позволил себе тогда, — охота на голубей.

Несколько раз пробирался я на знакомый мне с детства мельничный чердак и нашей старинной, так и валявшейся здесь сеткой ловил голубей. Когда я хотел убить первого пойманного мной голубя и не убил его сразу, я заплакал от жалости. Вероятно, как раз от этой ненужной жалости я ударил птицу недостаточно сильно, и она, полуоткрыв клюв, из которого потекла тоненькая струйка крови, смотрела на меня с жалобным и в то же время гневным недоумением. Я уже сделал движение выпустить, бросить несчастную птицу, но вспомнил худенькую шейку Подсолнышки, ее восковые щеки и, зажмурившись, еще раз ударил голубя о стропильную перекладину.

Подсолнышке я, конечно, не сказал, что принесенная мной ощипанная пичуга — голубь: вдруг бы она не стала есть. А она ела и приговаривала, что это "ужасно какой вкусный куренок, никогда даже такого не ела".

Потом я еще несколько раз ходил на опустевшую мельницу. Но с каждым днем ловить голубей становилось труднее: их было очень мало и они боялись людей — вероятно, охотился на них не один я.

3. «А ЧТОБ ГАЗЕТА БЫЛА...»

Не помню точно, кажется, в начале декабря вечером Вандышев вызвал в уком меня, Юрку и еще троих ребят из нашей комсомольской ячейки и сунул нам в руки измятый бумажный лист. На одной стороне листа косо, с угла на угол, тянулись размазанные полосы типографской краски.

Щурясь на свет лампы, тяжело перекладывая на столе огромные, испятнанные татуировкой кулаки, Вандышев посматривал то на нас, то в угол, где, оскорбленно нахохлившись и пряча рыжеватую бородку в воротник бекеши, сидел метранпаж бывшей кузнецовской, а теперь укомовской типографии — Василий Ильич Лютаев. Это был небольшого роста старичок с лисьим, ласковым и дряблым лицом, к которому была, казалось, приклеена беленькая, как мыльная пена, аккуратная бородка. Он сидел чинно, стараясь принять независимый вид, но с первого взгляда было видно, что он очень боится Вандышева. Надо сказать, что внешность Вандышева в то время действительно могла испугать: горящие, иступленные глаза и темное, почти черное, с острыми скулами лицо, словно вырубленное из куска антрацита, к тому же в нем была какая-то перекошенность, смещение черт — это обычно появляется в лице человека после больших потрясений.

— Вот что, укомолы, — сказал наконец Вандышев, с трудом отводя глаза от Лютаева. — Как думаете, что это? — и ткнул кулаком в бумагу.

В комнате было тихо, только за спиной у меня в высоком резном деревянном футляре мерно потикивали часы. Мы молчали.

— Метранпаж утверждает, — продолжал Вандышев, — что нашу газету "Путь борьбы" печатать в типографии его бывшего хозяина нельзя. Холодно, видите ли, шрифты рассыпаны, нет керосина, нет типографской краски. Этот тип...

Сидевший до этой минуты неподвижно, Лютаев вдруг вскинулся как укушенный, щеки его, покрытые паутиной красных жилок, задрожали.

— Я вам не тип, гражданин Вандышев!— закричал он, задыхаясь. — Я еще пять лет назад страдал здесь за свои революционные убеждения! И не позволю всякому...

— Нет, позволишь, — с угрозой перебил Вандышев. — Вы, эсеры, всегда были предателями! И только предателями...

— Не позволю! — визжал Лютаев.

Вандышев поднялся и медленно, на ходу наливаясь холодной яростью, пошел к Лютаеву. Старинный паркет под его ногами сухо скрипел. И с каждым шагом гнев Лютаева остывал. Метранпаж нехотя сел на край стула и прыгающими от страха злыми глазами следил за Вандышевым.

Постояв возле Лютаева, Вандышев вернулся к столу и сказал:

— Вот, ребята, вам задача. Кровь из горла, а чтоб газета была! Этот саботажник будет вас учить.

Так началась моя работа в типографии.

В полуподвале кузнецовского дома, где помещалась типография, топить было нельзя: какие-то хозяйственные мужички, вероятно вроде жившего рядом торговца Кичигина, еще в дни боев повыдирали из рам все стекла, поотвинчивали от оконных рам шпингалеты и ручки и сняли кое-где трубы парового отопления — все, что можно было отвинтить и унести. Наборные кассы были опрокинуты, шрифты перемешаны и залиты каким-то загустевшим маслом — это перед уходом из города сделали белые.

В этой типографии до революции набиралась “Земская газета”, во время власти учредиловцев печатался их “Вестник”, а теперь должен был печататься “Путь борьбы”. Но, как пояснил нам в заключение Вандышев, в то время в типографии окопались эсеры и меньшевики. Наибольшим влиянием среди печатников пользовался, однако, не Лютаев, а некто Никшин, меньшевик, который вскоре после революции вернулся из тобольской ссылки. У него были большие свинцовые глаза, смотрелые на все с пристальной и ядовитой недоброжелательностью, суровое аскетическое лицо, разрубленное поперек узкой и жесткой, как шрам, полосой рта.

Теперь Никшин, заправлявший в городе делами печати, важно и величественно ходил по улицам, несмотря на большие морозы, всегда без шапки, подставляя ветру свои седеющие, как бы заиндеветшие апостольские кудри. При каждом удобном случае он рассказывал всем, кто хотел его слушать, о своих “страданиях за революцию” и намекал, что причиной всех бед страны являются большевики, — если бы, дескать, у власти оказались меньшевики, давно была бы не жизнь, а сущий рай. На одном из митингов кто-то из рабочих, передразнивая Никшина, назвал рисуемую им жизнь не сущим, а “сущим” раем.

Были, конечно, в типографии и свои, преданные партии люди — коммунисты Мешков, Лохматов и Савушкин. Но первый из них ушел с мобилизацией на фронт и, если остался жив, теперь сражался с Деникиным где-нибудь на берегах Дона. Второй в начале зимы во главе продотряда выехал для изъятия продразверстки в кулацкое гнездо Езыклинское и назад не вернулся — через неделю нашли его тело без головы, опознав по рубашке да по руке, на которой было родимое пятно. Третьего коммуниста, Савушкина, совсем недавно неизвестные, вероятнее всего свои же печатники — меньшевики или эсеры, поймали ночью на улице и устроили ему “темную”. Накрыв голову рогожной дерюгой и завязав эту дерюгу вокруг его шеи, зверски избили — он лежал в госпитале с проломленной в нескольких местах головой, положение его было безнадежно. В результате каждый номер газеты теперь набирался по пять-шесть дней и каждый раз выходил с чудовищными, искажавшими смысл опечатками.

По совету Вандышева мы, разобрав шрифты и кое-как отмыв их, перенесли часть наборных касс в одну из комнат укома. Из печатных машин исправной оказалась только одна — маленькая ручная “американка”, на которой раньше печатались афиши и объявления. Мы и ее перетащили наверх, так как было решено пока, до весны, печатать хотя бы маленькую и одно­стороннюю газету, но по возможности ежедневно. Поезда шло кое-как, без всякого расписания, и центральная “Правда” запаздывала к нам на несколько дней — если вообще доходила, а людям очень хотелось знать, что же происходит в стране.

Редактором нашей газеты стал Иосиф Борисович Гейер, студент Казанского университета, — ветром гражданской войны его занесло в наш городок, и он здесь застрял. Это был рослый приятный блондин с добрым и мягким лицом, с тонкими и гибкими руками пианиста, до чрезвычайности близорукий и поэтому мешковатый и растерянный. Он учился не то на историческом, не то на филологическом факультете, а в нашем городе оказался потому, что здесь всю жизнь жил его дядя — самый знаменитый в нашем городе “артист-дантист”, как его любовно величали старички нашего города, щеголявшие вставными зубами.

Меня это обстоятельство, помню, очень взволновало — я мучился вопросом: можно ли мне, взамен выбитых, вставить искусственные зубы? Я считал себя революционером, а мне казалось, что настоящий революционер должен быть не только честным и смелым, а и красивым. Но я не решался ни о чем спросить Гейера, боялся его умной и деликатной усмешки.

В большой комнате, которая, видимо, раньше служила в доме гостиной, мы расставили наборные кассы и водрузили “американку”. Но печи и в этой комнате не топились, сейчас уже не могу вспомнить почему — вернее всего, потому, что не было дров. Надо было ставить какую-нибудь жестяную времянку, которые тогда в общежитии назывались “буржуйками”. Но и такую печурку достать было невозможно, их не хватало на только что открывающиеся школы, на госпитали, на детские дома. И нам, с разрешения дяди Коли, пришлось передвинуть ту печку, которая уже стояла в зале укома. Мы поставили ее в двери, соединявшей комнаты. Если буржуйку топили непрерывно, в типографии становилось тепло и с окон текли тоненькие, робкие ручьи — на стеклах таял лед.

В соседней комнате, где размещались почти все основные отделы укома, стояло несколько самых разномастных столов, начиная от огромного письменного на резных львиных лапах и, кончая ломберными — их зеленое сукно всю зиму напоминало о далекой теплой весне. На стенах, между картинами и разбитым трюмо, рядом с приказами и объявлениями укома, висели плакаты: “Что ты сделал для фронта?” и “Убей вошь!” А одну из стен занимала большая карта Российской империи, на которой каждый, кому хотелось, отмечал доступными ему средствами линии фронтов. У стен приютились два широких дивана, обитых черной клеенкой, — на этих диванах спали задержавшиеся укомовцы, иногда там же спали и мы с Юркой, если в типографии было много дела.

Я забыл рассказать еще об одном обстоятельстве, которое вошло тогда в мою жизнь. Иногда в свободные часы, чаще всего глубокой ночью, наш редактор, в большой, нетопленной, обычно запертой комнате, играл на рояле. Я очень любил украинские и русские народные песни, но я никогда не слышал по-настоящему хорошей музыки. И когда однажды, задержавшись в типографии, я услышал доносившиеся из глубины дома могучие звуки, я был буквально ошеломлен.

Я оставил печатную машину, пошел по коридорам, дошел до двери, из-за которой

доносилась музыка, и открыл ее.

В комнату сквозь холодную броню оконного льда падал, чуть подсиненный льдом, лунный свет. Огромная лакированная глыба рояля чернела возле самого окна, блики света трепетали и скользили по его поднятой крышке, словно это сама музыка скользила и переливалась по ней.

Я подошел к Гейеру — он не видел меня — и молча, почти не дыша, смотрел на его прыгавшие по клавишам пальцы, на клубы холодного пара, вылетающие из его рта. Я никогда не думал, что обыкновенные человеческие руки могут вырвать из этого черного лакированного ящика такую музыку. В ней было все: и железная поступь, законных в сверкающие доспехи рыцарских полчищ, и сияние покрытых вечным льдом скал, и громовые раскаты волн, грызущих каменные уступы берега...

Когда Иосиф Борисович кончил играть, когда в дальних, темных, - наполненных призраками углах замер глухой рокот струн, я спросил шепотом:

— Это что?

Гейер встал и, осторожно опуская крышку рояля, сказал мне с важностью:

— Это, Данил, Бетховен. Могучий человечище был! А?

4. ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК?

Однажды в январе я проснулся очень рано. Подсолнышка еще спала, укрытая поверх одеяла всеми одежонками, какие нашлись в доме. Из-под вороха серой, драгой, много раз латанной и перелатанной одежды были видны светлые волосенки девочки и ее лобик. Дыхания не было слышно, но спала она спокойно. Легкий парок выбивался из-под одеяла.

К утру мороз стал еще крепче, чем вечером накануне; на стеклах окон, так же как вчера, бугрился неровный лед. Белым искристым налетом инея покрылись оконные шпингалеты, шляпки гвоздей и угол стены за темной иконой — не помогала и мамина копилка — лампада.

Дуя на негнущиеся пальцы, постаревшая и поседевшая мама, возилась у печки, укладывая костерком куски досок, которые я ночью наломал в изгороди городского сада. Когда я поднялся, мама ничего не сказала, только озабоченно и жалобно посмотрела на меня печальными красивыми глазами. Вообще она тогда была очень молчаливой, лишь о боге и чудесах могла говорить и слушать без конца.

На шестке печи, едва освещенной копилкой, стоял чугунок, набитый доверху снегом: мама собиралась, как делала это каждое утро, натаять воды и сварить суп. Видимо, она встала давно и еще до того, как я проснулся, выходила во двор: на стареньких, с вытертыми красными узорами валенках лежал снег.

В те дни еще одна странная особенность появилась у нашей мамы: она стала болезненно чистоплотной, только и делала что прибирала, стирала и мыла.

Сейчас на некрашеном и до блеска выскобленном столе на белой тряпочке серой кучкой лежали горсти две крошек подсолнечного жмыха — три дня назад мне удалось выменять этот жмых на обрывки красной бархатной шторы, найденной за разбитыми бочками в каретнике барутинского дома. Суп из подсолнечного жмыха, который мама тогда варила, Сашенька называла "мой суп": она ведь у нас была Подсолнышка.

— Сегодня праздник, — не обращая ко мне и не поворачиваясь от печки, сказала мама. — Хоть бы муки немного выменять.

И она и я прекрасно знали, что ни продать, ни менять нам совершенно нечего. Я

подумал, что надо еще полазить по всяким брошенным буржуйским сараям—может быть, что-нибудь и удастся найти. Но прежде чем заняться этим, я должен был пойти в типографию, печатать набранную вчера газету.

Я ушел.

Все дома с наветренной стороны были занесены сугробами снега почти в рост человека; между сугробами и, прорезая их, змеились робкие пешеходные тропки. Обычно только по Большой, Проломной и по улицам, ведущим к базару, тянулись широкие санные колеи. Но теперь и их не было видно — столько намело и навалило за ночь снега.

Белое пламя поземки, взвихриваясь за ветром, облизывало снизу стены домов, стволы деревьев и нижние их ветви, подножия телеграфных столбов. Низкое рваное небо только угадывалось сверху—посмотреть туда было нельзя: слепил снег. Ветер выл, свистел и громыхал полусторванными водосточными трубами; за этим воем и грохотом не угадывался ни один живой звук. Ни огня, ни собачьего лая, ни человеческого голоса, как будто шел я по неживому, брошенному людьми городу. Ощущение такой пустоты я несколько раз испытал во сне.

Засунув руки как можно глубже в рукава шинели, сбывчившись навстречу ветру, иногда останавливаясь и выгребая пальцем из ботинок то и дело набивавшийся туда снег, шагал я по пустым улицам.

Ржаво и отвратительно скрипела, раскачиваясь на ветру, кичигинская вывеска — все, что осталось от его магазина.

Проходя под вывеской, я невольно поднял глаза. Все ставни окон были закрыты и прижаты болтами, но в вырезанные сердечком глазки были видны темные, не покрытые морозными рисунками отекла, за ними — отчетливые и такие манящие — зеленели узорчатые листочки гераней.

Да, были еще в городе такие дома, где было тепло, где никто не умирал с голоду. И именно там, в этих домах, в каких-то тайниках, и скрывались неуловимые, несмотря на бесчисленные облавы, застрявшие в городе колчаковцы — это они по ночам стреляли из пистолетов и организовывали в ближних деревнях кулацкие вылазки.

Кичигинская лавка третий год стояла закрытой, двери ее были, накрепко заколочены дюймовыми досками. Торговать Кичигину было нечем, но сам он не ушел с отступающими белыми в Сибирь, как ушли многие, пожалел бросить накопленное добро. "Мне бежать нечего: не вешал, не убивал, не грабил! Торговля — она дело любовное, хочешь — купишь, хочешь — нет!" — кричал он в укове, куда его вызвали для наложения контрибуции. И все же он, видимо, дрожал за свою шкуру: его сын, черноусый красавец Анисим, который работал при учредилках в комендатуре и с чрезвычайной жестокостью расправлялся с коммунистами, убежал с белыми. Если бы Анисим попал в руки наших, ему бы не было пощады.

С Кичигиным теперь осталась только горбатенькая, старая, похожая на бабу-ягу родственница и его дочь, полная, строгая девушка, — я ее помнил с тех пор, когда она в беленьком, чистеньком передничке ходила в женскую гимназию. Даже в этом, вызванный в уком Кичигин, счел необходимым оправдаться: "А что Сонька в гимназиях вместе с есплотатами училась — так что? Сами пишете: "Учение — свет!"

С этой Сонькой Кичигиной я несколько раз встречался на железнодорожных путях: буржуев выгоняли туда на помощь нам — ремонтировать пути и расчищать снег. Сонька ходила на эту работу в большой белой пуховой шали, повязанной крест-накрест поверх отороченной беличьим мехом зеленой шубки, в меховых варежках и в

серых новеньких, еще не стоптанных, круглых в подошве валенках. В течение всего дня она с боязливой старательностью размахивала лопатой и ни разу не подходила к костру, к которому мы вынуждены были бегать через каждые пятнадцать минут.

Очень ненавидел я ее тогда, эту полную, сытую девушку, ненавидел за ее валенки, за рукавички, за румяные, накалтые щеки. И она, вероятно, чувствовала эту мою немую ненависть: каждый раз, оказавшись рядом со мной, испуганно косила глазом в мою сторону и вся сжималась.

Проходя под вывеской и глядя на теплые окна, я вспоминал все это. И если бы под руками у меня оказалась палка или камень, я швырнул бы в окно ненавистного мне уютного дома, в котором было тепло, где пар от дыхания не ходил облаками по комнате.

“Почему же так? — спрашивал я сам себя. — Совершилась революция, за нее погибли такие прекрасные люди, как мой отец, как многие его товарищи. Но все равно теперь, когда в городе люди ежедневно мрут от голодного тифа, такие вот, как этот Кичигин, продолжают сыто и тепло жить за своими высоченными заборами, за своими ставнями, за сотней замков и засовов. Ведь он всю жизнь грабил народ, почему же его не коснулась своим огненным крылом революция?” И мне становилась понятна та безграничная ненависть, которую я читал в глазах нашего “бешеного комиссара” — так прозвали в городе бывшего матроса с “Императора Павла” Сергея Вандышева. Он одновременно возглавлял Чека и был военным комиссаром.

Я внимательно рассмотрел Вандышева далеко не сразу. Вообще в то время в городе появилось много новых людей: одних присылали губком и губисполком, другие возвращались после войны, третьи приезжали из всевозможных скитаний и ссылки. Вандышев был прислан к нам из Самары, и очень скоро после приезда его уже звали “бешеным” за его непреклонную ненависть ко всяким врагам революции.

Родных у Вандышева не было. Позднее я случайно узнал, что всю его семью — отца, мать и двух маленьких сестренок — заживо сожгли в Кустанае каппелевцы; тогда многое в характере этого сурового, замкнутого человека стало мне понятнее и ближе — у меня белые тоже расстреляли отца.

5. ХИРУРТ ШУСТОЉ

В тот памятный день в уком побывало много народу. Дело в том, что в городе останавливались проходившие из Сибири военные эшелоны и многие из них надо было обеспечить хотя бы на несколько перегонов топливом, надо было принять из них больных тифом — таких в ином эшелоне оказывалось до десятка. Под госпитали в городе уже заняли четыре больших дома, включая самый богатый — калетинский дом, и богадельню. Врачи и санитары сбивались с ног, работая по несколько суток без отдыха.

Всего в нашем городе насчитывалось около десяти, кажется, врачей, но только двое из них — Елена Александровна Воздвиженская и Мария Петровна Стюарт — добровольно работали в тифозных госпиталиях. Остальные всячески уклонялись от работы, прятались, предпочитали чистить снег или оставаться без пайка, чем идти в тифозные бараки, в “пересылку на тот свет” — так некоторые местные остряки называли тогда госпитали.

И вот в тот день в уком к Вандышеву уполномоченные Чека одного за другим приводили уклонявшихся от работы врачей. Некоторые из них торопливо и бессвязно извинялись и, получив направление на работу и как-то странно успокоившись, уходили. Но трое врачей — я уже не помню сейчас их фамилий — под разными предлогами отказались работать.

У одного из них, видите ли, был застарелый ишиас, у другого серьезно заболела тетка, третий вообще собирался уехать из города. Этих троих не пустили, а оставили здесь же, в укоме. Обособленной кучкой они жались в углу.

Молчаливо перекладывая на столе свои темные кулаки, Вандышев смотрел на них голодными, осуждающими, какими-то мутными глазами—мне казалось, что он сейчас встанет, подойдет и начнет их бить. И я считал, что он будет прав: ведь там красноармейцы и командиры мучаются в тифозном бреду, им необходима помощь! Мне все время вспоминался молодой командир Ипатов, о смерти которого сообщила "Правда". Ведь вот он не пожалел ничего, оставил родных — пошел. И погиб! Как же смеют эти трое, здесь, в тылу, отказываться от работы в госпитале? Я смотрел на них с ненавистью, для меня они были чужие, враги.

В середине дня посланцы Вандышева отыскали и привели в уком медицинскую знаменитость нашего города — величественно-барственного красавца хирурга, "душку", любимца всех знатных барыnek — Виталия Васильевича Шустова.

Огромного роста, похожий на Шаляпина, знающий об этом сходстве и подчеркивающий его, Шустов вошел в великолепной, распахнутой на груди бобровой шубе. Вошел и остановился, брезгливо оглядывая всех.

Не задерживаясь, скользнул его взгляд по фигурам хмурых, кое-как одетых укомовцев, перелетел к группе врачей — они все трое подобострастно и угодливо поклонились знаменитому коллеге. Они оживились — видимо, обрадовала простая мысль: либо Шустов всех выручит, либо сам вынужден будет пойти работать. А уж если Шустов пойдет, тогда, значит, никуда не денешься.

И, кто знает, окажись Шустов в укоме с глазу на глаз с Вандышевым, разговор между ними, может быть, вышел бы совсем другим. Сейчас же, присутствие посторонних только взвинтило Шустова, заставило еще более высокомерно вскинуть голову.

Даже мы, в типографии, побросали работу и с любопытством ждали, что будет. Но сразу было видно, что Шустов не боится никаких кар, которыми ему может угрожать Вандышев, — он вошел и, не снимая перчаток, стоял, не здороваясь ни с кем.

- Врач? — спросил Вандышев.

- Да.

- Фамилия?

- Шустов.

- Сынок или брат коньячного короля?

Шустов брезгливо поморщился.

- Разве это имеет отношение к делу?

- Нет. Не имеет. Отказываетесь работать?

- Не отказываюсь. Я не могу работать в таких условиях.

- Почему?

- Без медикаментов, без средств наркоза, без перевязочных средств? Собственно говоря, кухонным ножом ампутировать гангренозные ноги? Не могу, не хочу и не буду.

Несколько долгих мгновений они молча смотрели друг на друга. Вандышев, уже родной мне, с его черным, антрацитовым лицом и бессонными, измученными глазами, и этот холеный, чисто выбритый, самоуверенный барин, с нескрываемым презрением относящийся ко всему, что он увидел здесь. Я бы обрадовался, если бы Вандышев подошел и ударил его.

Но "бешеный комиссар" молчал, по привычке перекладывая с места на место свои тяжелые кулаки. И в такт этим движениям под темной кожей лица перекатывались

желваки. Но заговорил Вандышев тихо и спокойно:

— Вы, врачи, любите говорить о врачебной совести. Вот я к ней и взываю. Там, в госпиталях, лежат люди. Они могут умереть, погибнуть, если им не будет оказана помощь. Ну, согласен, не всех, но ведь некоторых можно спасти. Я вашу совесть спрашиваю...

Шустов не спеша снял и опять натянул перчатку. Потом поднял глаза, они у него были серые, стального цвета и смотрели сейчас так же непримиримо, как у Вандышева.

— А вы сначала у своей совести спросите, господин комиссар,— ответил он. — Кто довел этих несчастных, там, в госпиталях, до такого состояния? Вы! «Кто довел страну до того, что она подыхает с голоду, умирает в тифозной горячке? Вы! — Он неожиданно рывком сорвал с руки только что надетую перчатку. — И теперь вы хотите, чтобы мы, — он махнул перчаткой в сторону врачей, — чтобы мы вместе с вами отвечали за вызванную вами дикую смертность?! Хотите теперь свалить на нас ответственность за то, что делается в городе? Не выйдет, господин комиссар!

Тишина была настолько глубокой, что я из другой комнаты отчетливо слышал стук маятника стальных часов позади Шустова.

— Последний раз спрашиваю: будете работать? — совсем тихо повторил Вандышев с неподвижным лицом, только глаза его, наполненные ненавистью, казались живыми.

— Последний раз отвечаю: нет.

Вандышев встал, медленно вышел из-за стола, темная рука его легла на отполированную до желтого блеска деревянную коробку маузера.

— Тогда я вас сейчас расстреляю.

Кто-то из врачей вскрикнул, кто-то прерывисто, со свистом вздохнул, но ни один мускул не дрогнул на лице Шустова.

— Нет, не расстреляете, — усмехнулся он. — Есть декрет Ленина об отмене расстрела.

Действительно, только на днях в нашей газете был напечатан переданный по телеграфу декрет об отмене смертной казни; я сам набирал его и помнил наизусть.

— Ах, вот как! — воскликнул Вандышев, и рука его, лежавшая на кобуре, вздрогнула. — Вот почему вы набрались смелости так разговаривать и саботажничать?..

Несколько мгновений он что-то решал про себя, потом одну за другой поспешно застегнул пуговицы своей кожанки.

— Ну хорошо, — вздохнул он. — Придется мне, видно, ответить перед советской властью за нарушение декрета. Что ж, отвечу! Но вас... — Он подошел вплотную к Шустову, и тот невольно сделал шаг назад. И тут выдержка изменила Вандышеву, и он закричал: — Но тебя, гниду монархистскую, я в рас ход пуцу! Своей рукой! — Выхватив из кобуры маузер, он властно кивнул стоявшим у порога уполномоченным Чека: — Пошли!

Что-то на одну секунду дрогнуло в холемом, самоуверенном лице Шустова, но он сейчас же оправился и с выражением высокомерного презрения повернулся и пошел к выходу.

Слышно было, как затихали в коридоре шаги. Никто не произнес ни слова.

Прошло не меньше двух минут. И когда откуда-то снизу донесся приглушенный звук выстрела, один из врачей вскрикнул и что-то быстро заговорил свистящим судорожным шепотом— слов я не мог понять. Потом заговорили все трое. Но как только на пороге показался Вандышев, они замолчали.

Ни на кого не глядя, устало поправляя кобур, Вандышев прошел и сел за стол. В

сторону врачей он даже не посмотрел, но они один за другим медленно, как бы против воли, потянулись к столу. Вандышев коротко называл каждому место работы, и они, торопливо и готовно кланяясь, пугаясь в полах пальто и натываясь на столы и стулья, уходили, почему-то обязательно отходящая на пороге.

6. СОНЯ КИЧИТИНА

И опять работа в уюме шла своим чередом.

Приходили солдатские вдовы с детьми на руках, приходили семьи большевиков, замученных белыми, — бессильные от голода дети на руках уже не плакали, а только сипели, беспомощно открывая рты.

Возвращались и снова отправлялись в уезд продотряды, проводившие изъятие хлебных излишков у кулачья.

Пришла скорбленная старушка в сиреновом богадельническом салопе колоколом, с провалившимися, удивительно ласковыми глазами, принесла шерстяные чулки и варежки своей вязки: "На фронт внучонку моему нельзя ли послать, голубчики, там теперь холода лютые, сказывают".

Приходили с бескровными гипсовыми лицами, выписанные из госпиталя солдаты, задыхаясь, жадно затягивались махоркой и требовали одеть их "во что есть" и отправить на фронт. Их одели, дали им талоны в столовую, и они ушли.

Привели пойманного на задворках дезертира, дрожащего, обросшего рыжими проволочными волосами лохматого парня, и после сурового разговора с ним, свели в подвал — до суда.

Дядя Коля без конца крутил ручку старого эриксонского, только что починенного телефона, кричал: "Алле! Алле!" Мне кажется, что иногда он делал это без особой нужды.

В городе работали две школы — нужны были дрова и детская обувь; для больных детдомовских детей просили достать молока — предстояло реквизировать у кого-то корову или двух-трех коз. А тут на рынке началась перестрелка: за полпуда муки кулаки выменяли у дезертиров разобранный пулемет. Но при облаве он был обнаружен, милиционерам пришлось выдержать настоящий бой.

Один из углов огромного укомовского зала был завален теплыми вещами, собранными и реквизированными в городе и деревне, — их увязывали в тюки для отправки на фронт. Раза два, вслед за принесенными в уком вещами, с ревом и слезами врывались какие-то толстые, со свекольными щеками женщины и, кланя на чем свет стоит "комиссаров" и, грозя приходом банды Сапожкова, бродившей невдалеке, требовали вернуть вещи и судорожными, жадными глазами отыскивали свое барахло в куче в углу.

Привели арестованного на вокзале колчаковского офицера, переодетого в немисливо рваный, когда-то коричневый, а теперь черный крестьянский зипун, в глубоченном кармане которого оказались кольт и серебряный с вензелем портсигар. Властное тонкогубое лицо странно выпирало из сермяжного, не идущего к нему обрамления; светлые, прозрачные глаза горели такой бессильной ненавистью, что не нужно было ни допросов, ни доказательств.

В городе восстанавливались и уже начали работать железнодорожные мастерские. Ремонтировался единственный дизель электростанции, выведенный из строя белыми. В бывшем кинотеатре "Экспресс", принадлежавшем раньше Гунтерам, открылся Народный дом; там теперь готовили к постановке "пьесу в восьми актах с прологом и эпилогом" — "Смерть капитала!" Из всех этих мест приходили, и прибегали, и звонили

по телефону товарищи: требовали немедленной помощи, людей, средств.

"Буржуйка" наша отчаянно дымила, в комнате, как над полем сражения, плавали облака дыма, красными пятнами просвечивало сквозь дым раскаленное железо печурки.

У меня второй день болела и кружилась голова; я думал, что это от голода. Хотелось лечь, укрыться с головой своей ши нелишкой и лежать, ничего не думая, ничего не желая. Даже сообщения с фронта, только что принесенные с телеграфа, которые я набирал, не так волновали меня, как всегда. Я понимал только, что бои шли на улицах Иркутска, что в центре города укрепились юнкера, поддержанные семеновцами, ворвавшись в город с японским флагом. Верстатка валилась у меня из рук.

Вечером в соседнем зале тянулось очередное бесконечное заседание укома. За низким, "львиным", как мы его прозвали, столом сидел на своих кожаных, уже порывевших и в одном месте даже залатанных культяпках дядя Коля. Лицо его, ярко освещенное светом близко стоявшей лампы, странно двоилось и смещалось у меня в глазах. Рядом, откинув голову на спинку резного кресла, полузакрыв глаза, дымил папиросой Вандышев. На диване у двери Гейер старательно писал на обрывках бумаги передовую статью. На другом конце дивана — Никшин, суровый и молчаливо враждебный, как бы чем-то невидимым отгороженный от остальных. В углу комнаты, который был виден мне от моей кассы, за особым столом "школьная комиссариха", бывшая учительница реального училища, высокая светловолосая Александра Васильевна Морозова с какой-то другой женщиной, лица и имени которой я не помню, увязывала приготовленные к отправке в армию теплые вещи — шинели, бушлаты, валенки, шапки. Часть этих вещей утром привезли в уком из госпиталей — они остались после умерших. Но в большинстве случаев это были вещи, заведомо негодные к отправке — рваные, сожженные возле походных костров, навечно прокопченные в топившихся по-черному теллушках, изношенные до невозможности. Темной кучей эта рвань лежала возле стола.

С трудом поднимая руку к кассе, я медленно набирал строку за строкой. Они то расплывались у меня перед глазами, то я видел их с какой-то неестественной отчетливостью — увеличенными и яркими. Очень далеко, в какой-то невероятной дали ослепительно горела лампа-"молния". Временами все начинало плыть у меня перед глазами, но я встряхивался, и наваждение исчезало. Иногда я поднимал глаза и, механически набирая строку, смотрел на висевшую против меня большую картину: синее ночное небо, коричневые скалы на берегу, костер под скалами, а вокруг огня — рыбаки, и недалеко от них, в розовой и синей полутьме, слабо освещенные отсветами пламени, темные остовы лодок и мачты — за рею одной зацепился тоненький серпик месяца. В этой мирной, идиллической картине все было далекое и чужое, но она почему-то успокаивала — я очень любил на нее смотреть.

Из соседней комнаты долетали обрывки разговоров, отдельные слова и фразы:

— ...полвагона конины... две бочки селедок... госпиталюм... детскому дому...

Когда в укоме хлопнула входная дверь, я поднял голову, посмотрел в соседнюю комнату и увидел там Соньку Кичигину. Одетая как всегда — в зеленую, отороченную мехом шубку, в меховых варежках и новых валенках, — она стояла у двери и нерешительно смотрела на сидевших за столами людей.

Днем, во время обыска, у Кичигиных были взяты для нужд Красной Армии две оказавшиеся у них лишними пары валенок, короткий меховой полушубок, который никто не носил, и две старые меховые шапки. Я подумал, что отец, наверно, прислал Соньку просить, чтобы часть вещей вернули. То же подумал, как оказалось, и дядя Коля.

— Что тебе, Кичигина? — спросил он. — Если насчет вещей пришла — разговору не будет. Все сказано при изъятии.

Сонька посмотрела на него, потом глянула вниз, на свои ноги, торопливо сдержнула варежки и, наклонившись, смахнула с валенок снег. Выпрямилась, глубоко и прерывисто вздохнула.

— Нет... Я не за вещами.

— Тогда не мешай. У нас тут заседание.

— А я... пришла работать.

— То есть как работать? Как другие... куда пошлете... Вандышев тяжело поднялся, бросил в угол догоревший до самых губ окурок, вылез из-за стола и подошел к Соньке. При каждом шаге тяжелая деревянная кобура ударяла его по ноге. Сонька смотрела на нее ошановившимися глазами. Щуря немигающие глаза, Вандышев обошел девушку и, у нее остановившись, старательно пощупал шаль у нее на плече.

— Оренбургская?

— Да, оренбургская.

— В колечко продевается?

— Да, продевается...

— Та-ак... — Сунув руки в карманы своей облезлой кожанки, Вандышев встал теперь против Соньки; мне были видны его широко расставленные ноги и обтянутая вытертой кожанкой спина. Он спросил: — Значит, красавица, надоело на печке лежать, калачи с маслом есть? Так, что ли?

Сонька молчала, опустив голову.

— Говори правду! — прикрикнул Вандышев. — Папашка прислал? Дескать, пойдешь, доченька, приласкайся к комиссарам — может, и вернутся вещички? Я ведь его сразу раскусил! Так, что ли?

Сонька вскинула на мгновение глаза, оглядела сидевших за столом, как бы прося помощи. Но все в комнате смотрели на нее как на чужую, никто ей не верил, и она поняла это и опустила глаза, быстрыми движениями пальцев перебирая бахрому шали.

— Что молчишь? — спросил Вандышев. — Отец прислал? Сонька в испуге прижала к груди руки и отступила к двери.

— Нет... Я ушла от него, — ответила она чуть слышно. — Совсем ушла.

7. „А ТДЕ Я У ЗАС ЖИТЬ БУДУ?“

На минуту опять все поплыло передо мной, я покачнулся и уронил верстатку. К счастью, в ней были набраны только две строки, — я только что перед этим связал гранку. Я наклонился, поднял пустую верстатку, а шрифт собирать не стал: очень уж меня интересовало, что же будет дальше с Сонькой Кичигиной.

Вандышев все так же, с руками в оттопыренных карманах кожанки, стоял против нее.

— Та-а-ак... — еще раз протянул он. — Были белые в силе — твой братец Анисим помогал нас вешать. Стали мы в силе — ты к нам переметнулась. Ух, до чего же подлая ваша порода торгашеская!

Может быть, он и дальше продолжал бы ругать Соньку, но в это время между ним и девушкой осторожно, но решительно протиснулась Александра Васильевна Морозова.

— Погодите, товарищ, так нельзя, — сказала она Вандышеву. И повернулась к Соньке. — Ты действительно хочешь с нами работать?

- Да.

- Ты, может быть, думаешь, что мы сытно, хорошо едим? Что мы получаем большие

пайки?

- Не знаю...

- Ты, может быть, думаешь, что мы за свою работу, — она кивнула в сторону стола, на котором сортировала и увязывала вещи, — очень много денег получаем?

Сонька молчала, с робкой надеждой поглядывая на Александру Васильевну, заслонившую ее от Вандышева.

- Ты сегодня кушала? — спросила Морозова, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос,

Сонька подняла на нее глаза.

- Да, кушала.

- Что ты кушала?

- Суп.

- С мясом?

- С бараниной. И еще кашу, С хлебом кушала?

- Да.

Александра Васильевна молча вынула из кармана пальто что-то завернутое в носовой платок, развернула: там оказался кусочек хлеба — может быть, восьмушка, может быть, четверка,— того самого, непропеченного, с мякиной, который выдавали всем,

- А я, видишь, еще не обедала, — сказала Морозова и бережно, стараясь не уронить ни крошки, опять завернула хлеб в платочек и спрятала в карман. — Не боишься?

Сонька молчала. В комнате было совершенно тихо. Даже в типографии все притихли и, столпившись у дверей, наблюдали за тем, что происходит в укоме.

- Тебе придется получать такой же паек, — сухо сказала Морозова и, так как Сонька продолжала молча смотреть на нее, спросила еще раз: — Не боишься? Все равно хочешь с нами работать?

- Да, — чуть слышно, одними губами, ответила Сонька.

- Ну хорошо. — Морозова секунду помолчала, глядя на нее. — Но это еще не все, Соня, — продолжала она. И, повернувшись к угловому столу, показала рукой: — Видишь? Мы сейчас отправляем теплые вещи Красной Армии. Мы здесь можем как-нибудь обойтись. А они — в окопах, в степи, на ветру и снегу... Посмотри, каждый из нас отдал все теплое, что у него было. Посмотри, как мы все одеты...

Она повела рукой, и, невольно следуя взглядом за ее жестом, я как будто впервые так отчетливо увидел укомовцев. Ни на одном не было теплой шапки, ни на одном не было валенок или шубняка. Затертая до дыр кожанка Вандышева, обрезанная по низу шинелишка дяди Коли, тоненькое, подбитое ветром пальтишко Морозовой. И на других было надето все очень легкое и старое.

- Видишь?

- Вижу.

- Так если ты хочешь с нами работать, тебе придется сделать то же, — негромко продолжала Морозова. Она отступила несколько шагов назад, нагнулась над кучей, где было сложено негодное для армии барахло, выбрала из кучи рваное и латаное пальтишко и огромные разбитые английские ботинки и протянула все это Соньке. — Вот, переодевайся.

В комнате стало еще тише, слышно было, как где-то с подоконника старательно, словно считая удары, капала и капала вода.

Сонька с недоверием и недоумением смотрела на рваное пальтишко, от которого еще пахло госпитальной дезинфекцией, на разбитые, на отставшими подметками бо-

тинки. Оглянулась кругом, наверно думая, что это шутка. Но все были серьезны и ждали, глядя на нее.

— Сдрейфила? — засмеялся Вандышев. — Жалко стало? Вот она, ваша классовая сущность!

Сонька еще раз нерешительно оглянулась, посмотрела на себя, на рукавички, на беличьи манжеты шубки, на валенки. Что-то дрогнуло в ее лице, в углах губ и глаз.

Я в глубине души торжествовал вместе с дядей Сергеем. Тоже пришла, шура, работать на революцию! Я ведь не забыл, как мне приходилось униженно выпрашивать в долг до отцовской полочки в магазине Кичиговых и хлеб, и обрезки мяса, и соль! А теперь, когда революция победила,— пришла!

Но, к моему удивлению, Сонька вдруг сделала два шага к столу и осторожно положила на самый край свои меховые варежки. Потом, отступив от стола, принялась развязывать узел, которым была стянута на ее груди шаль. Руки у нее немного дрожали, и ей пришлось повозиться с узлом несколько секунд. Наконец развязала, и, взмахнув руками, как крыльями, она сняла шаль и так же бережно положила ее на край стола. Под шалью у Соньки оказались две толстые рыжие косы. Очень пушистые волосы, немного растрепавшиеся, когда она снимала шаль, светились над ее головой.

Затем, так же ни на кого не глядя, только все больше краснея, почти пунцовая, она расстегнула шубку, сняла ее и остановилась, не зная, куда положить. Теперь она осталась в розовой с белыми цветочками кофточке и черной юбке.

— Клади! — сказал Вандышев, отодвигая с края стола какие-то бумаги. — Клади, клади, не бойся.

Сонька осторожно перехватила шубку в поясе и, положив ее на стол, опустила руки и по очереди посмотрела на всех, как бы спрашивая, все ли и так ли она сделала. Потом, спохватившись, посмотрела вниз, торопливо нагнулась и, помогая себе ногами, сняла валенки и поставила их рядом, оставшись в серых шерстяных чулках.

Вандышев, смущенный, пододвинул ногой к Соньке лежавшие на полу ботинки и пальтишко.

— Одевайся. Застынешь. У нас хворых и без тебя много. Осторожно, словно боясь испачкаться, Сонька натянула на свои полные плечи старенькое пальто, присела на край стула и надела ботинки. Когда она встала и подняла глаза, щеки у нее горели.

Вандышев, нахмурившись и, видимо, чувствуя себя неловко, отошел в сторону.

Но в дело опять вмешалась Морозова. Она вернулась к большому столу, на "Которм" теперь яркой кучкой лежали Сонькины вещи, одну за другой брала их и рассматривала. Затем косо, как-то по-птичьи, глянула на дядю Колю, сказала:

— Правда, солдаты Красной Армии вряд ли смогут носить твою шубку. А перешивать ее нельзя... Так что, я думаю, ты можешь оставить шубку себе... И варежки тоже — очень уж они малы... Правда, товарищи?

Ей ответило сразу несколько голосов:

— Правильно! Верно!

— Валенки твои мы, конечно, отправим. Они пригодятся какой-нибудь медсестре. А тебе, я попрошу, подберут ботинки по ноге... Вот только не знаю, что нам делать с шалью. Как вы думаете, товарищи?

— Нет, шаль пошлите, — неожиданно сказала Сонька. — Вдруг раненому какому-нибудь... — и не договорила, заплакала. — А где я у вас жить буду?

— Найдем, — сказал Вандышев.

8. «МЫ СОБЛЮДАЕМ ЗАКОНЫ СВОЕЙ ВЛАСТИ»

Этот день, который я отчетливо помню, один из последних дней перед моей болезнью, был очень богат событиями.

Едва только Морозова отвела в сторону Соньку и только что укомовцы принялись за свое прерванное совещание, как в зал, хмуро посмеиваясь в усы, ввалился помощник машиниста нашего депо Суздальцев. Сейчас я уже не могу вспомнить его имени. Пришел он в уком прямо с работы, на его суровом, словно отлитом из чугуна лице, прорезанном глубокими морщинами, еще лежал тот характерный налет масла и копоти, который всегда покрывает лица железнодорожников. В одной руке Суздальцев нес свой жестяной дорожный сундучок, а в другой — развернутый номер нашей газеты.

Не обращая внимания на то, что в укоме шло заседание, он подошел к столу и бросил на стол перед дядей Колей газетный лист. По очереди посмотрев на сидевших вокруг стола, спросил с веселой злостью:

— А что, товарищи! Давно наша газета на матерный язык перешла?

Все насторожились. Дядя Коля взял газету, разглядел ее перед собой на столе и принялся просматривать; к нему присоединились и Вандышев и Гейер. Но никто из них не мог найти в газете ничего особенного. Суздальцев между тем сел и негнущимися, заскорузлыми пальцами сворачивал самокрутку.

— Ну где, Суздальцев? Какой матерный язык? — сердито спросил, не вытерпев, Гейер. Лицо у него покраснело, белокурые волосы падали на лоб неровными прядями, близорукие глаза смотрели с тревогой.

Суздальцев тяжело встал. Лицо его, которое только что улыбалось, стало строгим и сразу как бы осунулось, постарело. Он с усилием наклонился над столом и с яростью ткнул черным пальцем в строку одного из заголовков.

— Смотрите, черти собачьи, чего делаете! Контру всякую гвоздите, а сами ей помагаете!

Теперь уже и все мы, работавшие в типографии, сторонясь в дверях раскаленной печурки, один за другим пробрались к столу, сгрудились около него, — происшествие касалось нас не меньше, чем остальных. Только Лютаев с безучастным видом остался у талера, где верстал газету.

Оказалось, что в заголовке одной из статей, кто-то заменил одну букву — это искажало слово и придавало ему издевательский, хулиганский и даже контрреволюционный смысл. Заметить опечатку было нелегко, так как заголовок набирался курсивом, в котором буквы “д” и “б” очень похожи.

— Это что же получается? — недоуменно спросил дядя Коля, морща лоб, и хотел прочитать заголовок вслух. Но, споткнувшись на первом же слове, ожесточенно плюнул: — Тьфу ты, чёрт!

Вандышев, чуть не опрокинув в дверях печурку, выскочил в соседнюю комнату, подбежал к Лютаеву и схватил его за грудь. Лютаев выронил гранку, которую собирался заверсты вать, она упала углом на пол, и набор со звоном разлетелся в стороны.

— Я тебе покажу, контра поганая! — кричал Вандышев с перекошенным лицом.

— Так ведь курсив... — бормотал, дрожа щеками, Лютаев, пытаясь освободиться из цепких рук Вандышева.

— Я тебе покажу курсив! Обрадовались, гады, что советская власть расстрел отменила, хором начали саботажничать! Так я тебя, гада, без расстрела следом за

Колькой Романовым отправлю! — Он так толкнул Лютаева, что тот не удержался на ногах и упал на колени.

Конечно, невозможно сказать, была ли опечатка действительно следствием злого умысла, или произошло это из-за плохой разборки шрифтов, из-за того, что набиралась газета при свете керосиновой лампешки, или потому, что оттиски были совершенно слепые.

Стоя на коленях и размазывая по дрожащим щекам грязные слезы, Лютаев жгуче своих детей клялся, что он ни при чем, не виноват. Но Вандышев ничего не хотел слушать — казалось, он готов, ни минуты не медля, отвести Лютаева в подвал и там “хлопнуть”.

Видимо, Лютаев, так же как мы, прочел на лице Вандышева эту жестокую решимость и понял, что ничто ему не поможет. Он встал с колен и брезгливым движением отряхнул пыль со своих коричневых вельветовых штанов. Швырнув изо всех сил в сторону шило, которое все время держал в руках, он неожиданно сказал с такой же яростью, которая читалась на лице Вандышева:

— Ну и стреляй, идиот ты этакий! Стреляй, если ни божеской, ни советской власти над собой не признаешь!

Из всех людей, которые меня тогда окружали, мне больше всех нравился Вандышев: как и все мальчишки, я когда-то мечтал о морских просторах и шелесте парусов, о золотых буквах матросской бескозырки. Вандышев! Всегда, в любую стужу, в распахнутой настезь кожанке, в лихо заломленной на затылок бескозырке, этот смелый и решительный человек, так же как мой покойный отец, казался мне образцом мужества.

Когда Лютаев крикнул ему в лицо злые, оскорбительные слова, я думал, что Вандышев тут же на месте убьет его. Но, странно, Вандышев вдруг стих, пристально и внимательно, как-то по-новому посмотрел на Лютаева и отступил в сторону. После короткого молчания сказал сквозь зубы:

— А ты, кажись, зубастый! — Помолчал еще и кивнул: — Ну ладно. Еще раз поверю. Но в следующий раз за любую опечатку отвечать будешь ты.

— А я не могу отвечать! — огрызнулся Лютаев, глядя в сторону. — Я не могу отвечать за безобразия, которые будут твориться в этой так называемой типографии, — но продолжать спор с Вандышевым не стал, с оскорбленным видом отошел к талеру, на котором лежала полусверстанная полоса.

Когда скандал затих и когда следом за ним закончилось совещание, я выбрал свободную минуту и подошел к Вандышеву. Весь тот день стояло у меня в душе непередаваемое смятение: ведь я сам набирал декрет об отмене расстрела, декрет, подписанный Лениным. Как же смел Вандышев нарушить его, расстреляв Шустова? Я знал, как беспредельно Вандышев любил и уважал Ленина, знал, что для него каждое слово, подписанное Лениным, свято, — как же мог он поступить иначе, чем приказывал Ленин?

— Дядя Сергей! — несмело сказал я. — Ведь вот... был декрет, чтобы не расстреливать.

Он отставил в сторону жестяную кружку, из которой пил кипяток, и недоуменно посмотрел на меня:

— Ну да, был...

— Как же вы этого... Шустова?

Словно не понимая, он несколько мгновений пристально смотрел на меня. И вдруг расхохотался, и лицо его совершенно преобразилось. Не помню, у кого из больших писателей я читал, что если улыбка красит лицо человека, значит, оно прекрасно. У

Вандышева было как раз такое лицо. Улыбался и смеялся он очень редко, но при этом его черное, антрацитовое лицо всегда светлело и становилось совсем иным — в нем проступала почти женская, почти детская мягкость.

— Ах, вон ты про что! Ах ты, чудак мой беззубый! — Он весело подмигнул мне, но в моих глазах, вероятно, слишком отчетливо читалось смятение и он сделался серьезным и встал. Взял бескозырку, висевшую на спинке кресла, и кивнул: — А ну, пойдем!

Следом за ним я прошел по пустым в тот час коридорам укома, спустился в подвал, где пахло мышами, мокрым камнем и плесенью. Здесь, на пустом ящике, сидел с винтовкой в руках бородатый красноармеец с воспаленными, красными глазами. Когда мы вошли, он встал и вопросительно посмотрел на Вандышева.

— Ничего, Телегин, — кивнул Вандышев и пошел по коридору, в который выходило много дверей.

Шаги его звучали громко и четко. Сводчатые бетонные потолки низко нависали над нашими головами. Где-то капля за каплей падала на камень вода.

Он отдернул засов на одной из дальних дверей и вошел в нее, на ходу оглянувшись на меня. Со стесненным сердцем я вошел следом. Я не понимал, зачем он привел меня в подвал. Пока шли, мне казалось, что сейчас я увижу Шустова, лежащего на бетонном полу с кровавой дырой во лбу. И хотя в то время я на своем коротком веку уже видал немало мертвых, все во мне протестовало против этого зрелища.

Но я ошибся. В сводчатой комнате, куда мы вошли, на груди синих архивных дел я увидел сутуло сидящего Шустова. У него теперь не было того гордого вида, с каким он разговаривал с Вандышевым в укове. Лицо обмякло и обрюзгло, он сидел с непокрытой головой, на которой топорщились седеющие кудри. На скрип открываемой двери он устало и злобно вскинул голову;

— Ну как, гражданин Шустов? — спросил Вандышев. — Будете из себя и дальше контору выстраивать? Или, может быть, все-таки потрудитесь для советской власти? Шустов молчал. Но, к моему удивлению, Вандышев, подождав и не дождавшись ответа, довольно мирно подошел к нему и сел напротив, на такую же кипу дел, и посмотрел на него без ненависти, а только с презрительным сожалением.

Я стоял у двери и ждал.

— Слушай, барин, — сказал Вандышев с легкой усмешкой. — Мы, конечно, не будем тебя расстреливать, мы соблюдаем законы своей власти. Но неужели ты, умный, образованный человек, не понимаешь, что мы победили насовсем, навсегда, что мы теперь власть никогда не отдадим ни в чьи руки? Ведь нас миллионы! И всё на земле, вся планета будет принадлежать нам! Как же ты можешь идти против? А? Неужели у тебя действительно не осталось ни на грош разума? С кем ты хочешь быть? С теми, кого мы растопчем, как грязь на дороге, с теми, кого убьем как врагов? Неужели тебе себя не жалко? Такой представительный, такой красавец!

Шустов вскинул голову, в этом жесте еще был гнев, но в том, как он смотрел, уже угадывались раздумье и тревога.

— Прошу меня не агитировать! — сказал он, похлопывая себя перчаткой по колену. — Ничего не выйдет!

Вандышев устало поднялся.

— Ну и хорошо! — равнодушно ответил он, направляясь к двери. — Я-то ведь ду мал, что ты умный.

Шустов вскочил, но Вандышев, не оглядываясь, захлопнул дверь.

— Видал живоглота? — спросил он меня в коридоре. — Ну, пусть еще посидит,

подумает... А ты что, в самом деле думал, что я против Ленина пойду? Эх ты, голова садова! Это я только шкур этих поугуать. Теперь работают!

Так мне была возвращена поколебавшаяся на мгновение вера в нерушимую справедливость всего, что связано с революцией. И я почувствовал огромную, невыразимую никакими словами благодарность к грубоватому и простому матросу Сергею Вандышеву, благодарность за то, что он не втоптал в грязь, не пошатнул эту мою святую, необходимую мне веру.

9. ПЕТЬКИН ПАТКА НАШЕЛСЯ!

Вот этот маленький, незаметный для других эпизод и положил начало моему сближению с Вандышевым, стал преддверием нашей неравноправной дружбы, благодаря которой я и увидел "бешеного комиссара" совсем с другой стороны. Нет, он вовсе не был таким суровым и беспощадным, каким рисовала его городская молва, — в этом человеке под внешней грубостью жила очень добрая и отзывчивая душа. Оказывается, Вандышев очень любил детей.

Как-то вечером, освободившись на полчаса от своих бесконечных дел, он, смущенно посмеиваясь, спросил меня:

— А хочешь, Данила, я покажу тебе своего сынишку?

— Сынишку? — удивился я. — Да у вас же, дядя Сергей, и жены-то нет.

Вандышев, ту же натягивая на лоб бескозырку, взял меня за руку.

— А ну, пойдем.

На улице было холодно. Повисшая над куполом церкви, обрызженная с одного края луна стремительно летела между косматыми ключьями туч; тяжело, словно кованный из белого железа, падал снег; морозный ветер обжигал щеки. За покрытыми льдом окнами домов стояла тьма, только три высоких стрельчатых окна в зале укома угадывались сквозь снежный вихревой туман.

Вандышев несколько раз останавливался, пытаюсь закурить, но ветер мешал ему, задувал огонек зажигалки. Наконец, прижавшись лицом в угол какого-то парадного, он зажег папиросу, затянулся изо всех сил дымом и только тогда заговорил:

— Небось удивился?

— Удивился, — сознался я.

— Вот-вот...—Он сделал несколько шагов молча.—А дело, видишь ли, какое, Данил... С месяца, что ли, тому назад пошел я в этот самый детский дом. Помер там ребятенко. Ну помер и помер, нынче такое дело не в диковинку... Но накануне пришла ко мне из этого дома нянька, старушечка такая, глаза злые, и губы трясутся. "Ты, спрашивает, бешеный комиссар?" Хотел я ее с этим дурацким вопросом через три моря пугануть, ан гляжу, вроде не стоит, чего-то она важное знает. "Ну я, говорю, бешеный". — "Тогда, — добавляет эта старушка, — мне с тобой поговорить требуется". — "Ну что ж, говорю, божья лампадка, давай выкладывай твои секреты..."

Вандышев рассказывал не торопясь, с большими паузами. Я бежал сбоку, увязая по школотку в снегу. И луна бежала над крышами домов не отставая.

— Слушаешь?

— Слушаю, слушаю.

— И вот рассказывает мне эта божья лампадка, что в детском доме детишек почти не кормят. А ведь ты сам знаешь все, что есть, в первую очередь госпиталям да детским домам отдаем... "Как так, спрашиваю, не кормят?" А рука, понимаешь, сама уж вот за эту штуку хватается. — Он с силой хлопнул себя по деревянной кобуре

маузера. — Аж свет в глазах померкнул, ничего не вижу. “Как же так, — кричу ей, — не кормят?! Мы все силы, всю свою кровь отдаем, чтобы этим детишкам жизнь наладить!.. Кто?” — кричу.

Вандышев закашлялся, помолчал. Вокруг нас белыми языками взметался снег, на все голоса выл и свистел ветер.

— И вот, значит, подгребаем мы со старушенцией к детскому дому. У меня вся душа пламенем горит — до того я на эту подлость злой, так бы, кажется, голыми руками душил гадов, которые детишек бездолят. И вот входим... то есть я один вхожу... Старушку отпустил, потому как все, что надо, она мне обрисовала. И вот вхожу... Комната большая, вроде как залу нас в уюме. Столы, стулья, витые с золотом, картины с голыми бабами на стенах висят, одно слово — буржуйский бывший домина. Живи — радуйся. И в этой комнате, значит, детишки безродные. У кого, понимаешь, беляки отцов да матерей сгубили, у кого тифом померли, у кого без вести сгинули. И в комнате этой холодина, скажу я тебе, слов нет. Вшей морозить. На окнах льду — ну толщиной с ладонь... Броня! А детишки одеты легко, какие прямо в чем мать родила... Худые, синие... Вошел я, стою на пороге. И такая меня жаль за сердце взяла, — сказать не могу. Ах вы, думаю, салажата... И они, понимаешь, Дань, все к дверям повернулись и притихли, на меня глядят... и от двери пятаются... Вид-то у меня, сам видишь, не шибко ласковый... Хочу я шумнуть: эй, кто здесь живой, кто здесь начальник?! Уж очень не терпится скорее эту гниду, которая детишек под гибель подводит, своими кулаками пощупать... И только я рот раскрыл, как вдруг из этой толпы детишачьей... этакий мальчонка курносенький... волосенки давно не стрижены, висят космами, худущий — словно весь из прутков связанный. Глаза большие, прямо по пятаку... И глядит, глядит. Да как закричит вдруг во весь голос: “Па-па! Па-па!” И ко мне со всех ног. Подбежал, в колени мне морденкой своей уткнулся, ноги, как клещами, ручонками схватил и плачет и кричит без конца: “Папочка! Па-па!” А какой я ему па-па? Я его первый раз вижу. Ну, сам себе думаю: не иначе у мальчонки у этого отец тоже матросского чину-звания был. Родную, значит, душу малец учуял...

И опять Вандышев замолчал, широко шагая чуть впереди меня, изредка сплевывая в снег.

— Да-а...—Он глубоко вздохнул. — Вот так-то, Дань, и нажил я себе сынишку. Кое-как рознял я ему ручонки, присел возле на корточки. “Здравствуй, говорю, сынка. Как живешь?” Ну тут и все остальные ко мне, сгрудились кругомсмотрят вовсе глаза, галдят: “Петькин папка нашелся, Петькин папка...” Сел я с ними, сижу, а у самого сердце ходуном ходит, белугой реветь впору. Ах, думаю, бедолаги вы, бедолаги! Да когда же это мы вас досыта кормить станем, когда в теплую одежку оденем? Ведь, думаю, никого у вас не осталось — ни матерей, ни отцов, никого, кроме советской власти. Но не даст она вам сгнубнуть, вырастит она вас и выкормит, и, придет час, нарядит и выучит, и будете вы жить, не зная никакого капитализма, никакой такой погани, какая до революции нашу жизнь поедом ела.

Докурив папирску, Вандышев бросил окурочек в снег и облизнул пересохшие губы,

— Вот и хожу теперь туда, к своему сыночку, каждый почти день. Уж очень дорого, понимаешь, как он ко мне бегом бежит, как спотыкается. И глазенки, как два фонаря, — так и горят, так и светят...

— Ну, а как же тот? — спросил я.

— Кто? — не понял Вандышев.

— А который продукт воровал?

— А?! Оказался не то лакей бывший, не то приказчик. Ну, сидим мы с детишками, он и приходит... Сначала не разглядел меня, с порогу как крикнет: "Чего галдите, поскребки матросские?!" Оказалось, видишь ты, там больше матросские детишки собраны. Везли их из Питера в Сибирь куда-то, на сытые, значит, хлеба, а тут колчак-ковщина в Сибири хвост подняла... Ну и застряли... — Вандышев помолчал. — Ну, как крикнул он это, я и встал. Встал, а у самого руки трясутся, собой не владею. Подошел к нему. "Ах ты, говорю, акула ты полосатая, живоглот бородатый! Ты что же, говорю, делаешь? Детишки у тебя голодом помирают, а у самого морда как самовар ведерошный?!"

И опять шли молча, слушая свист ветра.

— Побили, дядя Сергей? — спросил я. Вандышев с сожалением вздохнул.

— Нельзя! Отвел в Чека, в подвал холодный заперли. Да велел три дня ни крошки ничего ему не давать. Пусть подумает, о детишках вспомнит. Теперь судить будем...

За разговором мы незаметно дошли до особняка богача Дедиллина, где помещался детский дом. Почти все окна особняка были погружены во тьму, только в двух теплился слабый, желтоватый свет. Снежинки косо летели в этом желтом свете, появляясь из тьмы и снова исчезая в ней.

— А я думал, дядя Сергей, что и вправду у вас сын...

— Нет, Данила.— Вандышев вздохнул.— И не будет, видно...

— Почему?

— Да ведь пойми, Данилка... Когда же тут с женой цацкаться, если международная контра кругом на всех языках шипит да зубы оскаливает? Сначала, дорогой, мировую революцию надо на земле наладить, а уж потом... про все прочее думать...

Помню, когда я следом за Вандышевым поднимался по мраморным ступенькам крыльца, мне так захотелось рассказать ему о своей жизни, о погибшем отце, о том, как странно переменялась за последнее время мама, о Подсолнышке, об Оле, обо всех дорогих мне людях — о живых и погибших.

Но сказать я ничего не успел: на властный стук Вандышева нам открыли дверь, и в глубине украшенного белыми колоннами вестибюля нас встретила маленькая хлопотливая старушка с добрыми, глубоко запавшими глазами, с лицом, иссеченным множеством тоненьких морщин. Я подумал, что это и есть та самая няня, которая приходила жаловаться Вандышеву на воров. Так и оказалось. Теперь эта няня заведовала детдомом.

— А-а-а, комиссар! — певуче и ласково приветствовала она Вандышева. — Что-то давно не бывал. Ребятенки мои все глаза на дорогу выглядели. А Петька твоя...

Она не договорила. Наверху лестницы, на широкой площадке, где сверкало высокое, до самого потолка, трюмо в деревянной резной раме и куда выходило несколько дверей из глубины дома, послышалась возня, и истошно радостный вопль пронесся по всему дому. Десятка два мальчишек и девочек, смеясь и толкая друг друга, словно горох посыпались вниз по лестнице. И через несколько секунд Вандышев уже был окружен ватагой худеньких, бледных детишек. Они хватили его за руки, за ноги, кто-то старался вскарабкаться ему на плечи. За визгом и смехом ничего не расслышать.

Старенькая няня — ее звали Прасковьей Михайловной — стояла в стороне и с улыбкой смотрела на детей. А Вандышев присел на корточки и, широко расставив руки, загреб в охапку несколько ребяткишек и хохотал вместе с ними, чуть не падая на пол. Курносый Петька уже сидел у него на плече, изо всех сил прижимаясь животом к голове "отца", цепко обхватив ее обеими руками. Как мне тут же рассказала Прасковья Михайловна, Петька действительно был сыном кронштадтского матроса, который погиб во время подавления контрреволюционного мятежа на Красной Горке. Мать его

подобрали на улице— она была при смерти, Петька, укутанный в старенький отцовский бушлат, лежал рядом. Так он попал в детский дом, который потом эвакуировали из Питера в глубь России.

Дав ребятам пошуметь и посмеяться, Прасковья Михайловна прикрикнула на них.

— Марш наверх, — приказала она. — Холодно. Застынете!

Вандышев встал, придерживая на плече сияющего Петьку.

— Дрова привезли, Михаловна?

— Привезли. Теперь в спальне до тепла топим. Пойдем, погляди...

Вандышев, окруженный детишками, стал подниматься по лестнице.

— Хворых нет? — спросил он, оглядываясь через плечо.

— Бог миловал! — отозвалась Прасковья-Михайловна. Вандышев остановился, посмотрел строго.

— Сколько раз я тебе указывал, Михаловна, чтобы ты детям мозги этим опиумом не напичкивала?

— Да ведь, милый ты мой комиссар! Неужели же бог — плохо?

Лицо Вандышева потемнело, в глазах загорелись недобрые огни.

— Ты еще у меня икон здесь повешивай! Ты знаешь, что есть опиум?

— Знаю, Сереженька, знаю... Так я же про того бога, который до бедного люда добрый... Бог — он, Сереженька, это все доброе, все хорошее, что на земле...

— И революция, стало быть, — бог?

— А как же, милый! Все, что трудящемуся на пользу, — бог.

Вандышев усмехнулся.

— Ох и хитра же ты, Михаловна! — И погрозил ей согнутым пальцем. — Учти: это наши сменщики в революционных делах и мозг у них должен быть ясный, коммунистический... Поняла?

— Как же, как же! Мозги-то у них еще ползать учатся. А вот животишки набивать им каждый день требуется... И мяса вся вышла, и селетки кончаются...

— Завтра вам коровенку пригонят. В Езыклинское за хлебом поехали. Там у одного мироеда три коровы на три души... Многовато по нынешнему времени... Будете молоко пить, салажата!

И опять начался веселый и бестолковый шум. Только двое или трое детишек не принимали участия в общем веселье, жались в стороне и исподлобья смотрели тоскующими глазами... Это были новенькие, еще не обжившиеся здесь дети. Уже в спальне одна из этих новеньких, тоненькая, как щепка, голе- настоящая девочка с черными цыганскими глазами подошла к Вандышеву.

— Дядю, — робко спросила она. — А мий таточку ще не приихав?

Далекая печальная искорка пролетела в глазах Вандышева, но он заставил себя улыбнуться. Подхватил девочку на руки.

— Нет, Оксаночка, ще не приихав. Он ще всякую деникинскую гиду на Донщине рубает. Скоро вернется твий тату. И другие, которые вместе с ним за революцию сражаются, вернутся.

— Скоро?

— Теперь скоро.

По распоряжению Михайловны старшие ребяташки растопили печь лежавшими возле нее дровами, огонь весело и ярко запылал. Для Вандышева положили перед печкой набок табуретку, как, вероятно, делали каждый раз, когда он приходил. Он сел, и вокруг него тесной стайкой сбились ребята.

Я не мог понять, что со мной. В горле у меня стоял комок. Я сел в сторонке и оттуда молча смотрел на Вандышева, на худенькие лица и ручонки детей и думал о Подсолнышке. И впервые мне пришло в голову, что, если мама заболит серьезно, придется Подсолнышку отдать в детский дом: я же не смогу и работать и смотреть за ней. И мне уже виделась сестренка в этой толпе бедно одетых детишек. Что ж, она вполне входила в эту семью: и так же была одета, и такие же у нее были худые руки.

Когда я оторвался от своих печальных раздумий и прислушался к словам Вандышева, оказалось, что он рассказывает детишкам, какая скоро будет на земле жизнь.

— И по всей земле вдоль всех дорог будут насажены сады. Вишневые, яблоневые, виноградные. И никаких заборов не будет. Захотелось тебе яблоко, скажем, или грушу — подойди и рви. И буржуев никаких не останется, все будут трудящиеся. И денег тоже не будет. Вот, скажем, поработал ты, а после работы иди в самый прекрасный магазин и бери все, что твоя душа хочет. Тельняшку надо — бери тельняшку, бушлат требуется тебе — на, пожалуйста! Вот какая будет жизнь.

— А колбасу? — несмело спросила девочка с большими глазами.

— Пожалуйста! — широко распахнул руками Вандышев. — Сколько хочешь. И работать каждый будет самую любимую свою работу. Ну вот ты, Петро, ты кем будешь работать, когда вырастешь?

— Я? — Малыш задумался, сосредоточенно ковыряя в носу. И вдруг оживился. Глаза у него заблестели. — Я — поваром.

— И я! И я! И я поваром! — на все голоса закричали ребятишки.

Вандышев расхохотался:

— Вот так дела! Все будут поварами. А кого же кормить станете, если все будете кашеварить?

В кармане у Вандышева оказалось несколько кусочков сахара, он достал их и, разломав темными сильными пальцами, rozdal детям. Потом мы попрощались и ушли.

Назад шли молча. На улицах было темно и пустынно. Ветер не стихал, и так же тяжело, как и раньше, падал снег. Я шагал следом за Вандышевым, а перед глазами у меня неотступно стояли бескровные, бледные лица, и из-за них на меня смотрели синие глаза Подсолнышки. Я с болью в сердце думал, что и сестренке моей, наверно, не удастся избежать судьбы этих "безродных", для которых все желания в жизни вытеснились теперь одним желанием: досыта поесть.

10. „ДЕТОНЬКА МОЯ СЪЕТАЯ...»

Мы вернулись в уком, и я снова принялся за работу. Надо было набрать последние известия в завтрашний номер газеты: только что с телеграфа принесли новые телеграммы. Но работать мне было трудно: наверно, я уже был болен. Временами все качалось и плыло у меня перед глазами, мне хотелось лечь, укутаться с головой шинелью и ни о чем не думать.

Я набирал заметку, которая, если не изменяет память, называлась "Колчак торгует Россией". В ней говорилось, что Колчак заявил правительству США, будто он нуждается, если союзники не будут оказывать ему дальнейшей помощи, в целях спасения от большевиков уступить Японии часть Сибири.

В укоме опять начались совещания, они шли без конца. Я не прислушивался к словам, долетавшим в типографию, — все это было обычно. И только на стук входной двери я невольно каждый раз поднимал голову.

Иногда я взглядывал на Соньку Кичигину: она сидела на диване рядом с Морозовой

и увязывала одежду в большие узлы. Я думал об этой рыжеволосой девчонке и спрашивал себя: что могло оторвать ее от сытой и теплой жизни и привести к нам, думал о том, как сложна жизнь и какие непонятные силы заставляют иногда людей совершать те или иные поступки.

От этих раздумий меня снова оторвал стук входной двери. Подняв голову, я увидел, что на пороге стоит мать. Она была в своей залатанной, потерявшей цвет кацавейке, с непокрытой головой; я ее не сразу узнал, потому что волосы у нее были совершенно белые — от дыхания на них сел густой иней. В руках она держала большой узел, завернутый в Подсолнышкино, сшитое из разноцветных треугольников одеяло. Я машинально отложил верстатку и подошел к двери.

Мама постояла, обвела всех в комнате странным, рассеянным взглядом, словно никого не узнавая, вероятно, не понимая, где она и как здесь очутилась. Дышала она тяжело, со свистом; белые, обледеневшие волосы беспорядочными космами висели по сторонам лица.

Дядя Коля приподнялся над столом, досадливо морщась. К маме теперь он относился хуже, чем раньше, — она слишком часто говорила ему в лицо обидные, незаслуженные слова, будто это он был виноват в том, что в городе нечего есть, что нет ни хлеба, ни крупы, ни дров.

— Что хотела, Даша? — сухо спросил он.

Мать молчала, не отвечая, может быть даже не слыша. Оглядевшись, она несколько мгновений пристально смотрела на картину над столом, где рыбаки сидели у костра на берегу, потом тяжело, точно ступая по пояс в воде, сделала несколько шагов к столу и только теперь как будто увидела и узнала дядю Колю. Она внимательно посмотрела на него, на других за столом и молча, очень осторожно положила свой сверток на стол.

Я смотрел, спрашивая себя: как же она развернула Подсолнышку и оставила ее без одеяла? Ведь дома холодно, а Подсолнышка совсем больная.

Да, в этот вечер и я уже был по-настоящему болен. С самого утра я чувствовал необычную слабость и головокружение, но думал, что это от голода, оттого, что вот уже много месяцев я ни разу не ел досыта. У меня непрерывно звенело в ушах, словно через голову текли шумные бурные реки; странное беспокойство овладевало мной, будто мне надо было обязательно куда-то идти, будто я позабыл сделать что-то важное, необходимое.

Все в укоме молчали. Наконец Вандышев спросил:

— Что, гражданочка, принесла?

Мама не слышала вопроса. Она посмотрела на дядю Колю, поправила какую-то складочку на одеяле и сказала тихим невыразительным голосом:

— Вот она... — И вдруг что-то как будто сломалось в ней, она оглянулась кругом безумными глазами и закричала:—Детонька моя светлая... Сашенька! Кровиночка-моя горькая! Я все еще не понимал, что произошло, и во все глаза смотрел на маму. Мне хотелось подойти к ней, взять ее за руку, увести домой, к Подсолнышке, успокоить, согреть. Но в это время Вандышев встал и сурово сказал:

— Ну хватит! Что у тебя тут? — Он откинул в сторону уголки одеяла, и я увидел бледный, безжизненный лобик.

Маленькое, такое дорогое мне личико сестренки было спокойно, на губах чудилась затаенная улыбка.

Все поднялись и молча смотрели на мертвую Подсолнышку. И странно — я не

крикнул, не бросился к ней, просто стоял и смотрел.

Было так тихо, что отчетливо слышались вой ветра на улице и потрескивание раскаленного железа печи. Мама, с ненавистью глядя на дядю Колю, сказала:

— Сами жрете, поди-ка... Буржувей выгнали, сами на их место сели... на рысаках развезжаете! Блины каждый день пекете! А... а... дети наши... — Она не договорила, рот у нее медленно пополз на сторону, голова наклонилась набок, она взялась рукой за край стола и покачнулась.

Вандышев смотрел на нее с гневным недоумением. Для него это была тоже какая-то разновидность "контры" — он ведь маму мою совсем не знал, ни разу до этого не видел.

Худое, изможденное, с торчащими вперед скулами лицо дяди Коли стало страшным. Ему, наверно, хотелось закричать, что это неправда, что мама повторяет чужие, вражеские слова, но он сдерживался и только смотрел на нее. Морозова подхватила маму под руки и усадила на диван.

Мама села на край, свесив между коленями свои худые, ставшие такими длинными руки. И вдруг в тишине, где отчетливо и отдельно было слышно дыхание многих людей, она тихо засмеялась. Смеялась она бессмысленно и так ласково, как смеялась только очень давно, в самые хорошие, в самые счастливые свои дни.

И вот тут, когда я понял, что мама сходит или уже сошла с ума, что-то надломилось у меня внутри, я закричал и кинулся к ней, не глядя по сторонам. Мне мешала печка, стоявшая в двери. Покачнувшись, я схватился за ее раскаленное железо и закричал от пронзившей меня боли.

Утром на другой день маму отправили в Карамзинскую колонию; там отапливались две палаты для душевнобольных — таких в те годы было немало.

Подсолнышку похоронили.

Похороны я помню как сквозь дым, как кусок полузабытого сна: сани-розвальни, тонущие в снегу, маленький гробик из изъеденных древооточем досок, ветви деревьев, толстые и белые от инея, словно выкованные из серебра. Но помню — у меня не было жалости к умершей: у нее было спокойное, умиротворенное лицо. Мне казалось, что у нее такое выражение: "Ага, я вас всех обхитрила, я теперь не буду ни мерзнуть, ни голодать".

Маму из колонии увезли в губернский город, где была психиатрическая лечебница, дядя Коля утешал меня, что она скоро поправится, что это у нее временное. Я взял все вещи, которые остались у нас, и перенес их в уком, в одну из соседних с типографией комнат, — в ней раньше жил кто-то из прислуги.

На стене в углу висела дешевенькая олеография — Христос в Гефсиманском саду: неправдоподобно синее, с очень крупными звездами, небо, незнакомые мне деревья... Под железной койкой валялись рваные тряпки, обрывки писем на непонятном мне языке, пучок тоненьких восковых свечей. В углу стояла виолончель с рваными струнами — только одна, самая толстая, была цела; прикосновение к ней рождало глухой, тоскующий звук.

В своем новом жилище я провел всего одну ночь, на следующий день болезнь окончательно скрутила меня.

Может быть, кто-нибудь упрекнет меня в том, что я в воспоминаниях о первых днях советской власти, в воспоминаниях о революции привожу слишком много тяжелых подробностей, — может быть, можно было бы обойтись без этого? Нет, нельзя. Нельзя, чтобы те, которые сегодня молоды, придя в наш сравнительно благоустроенный мир, не знали, какой огромной ценой их отцы и матери заплатили когда-то за революцию.

11. В ГОСПИТАЛЕ

В себя я пришел в госпитале, и первый знакомый человек, которого я там увидел, была Сонька Кичигина. Она работала санитаркой.

Госпиталь был набит битком, больные лежали не только на койках, но и между ними — и в палатах, и в коридорах — на посланных на пол тюфяках, а иногда и просто на охапках соломы.

Я очнулся на койке, в самой теплой и чистой палате: меня устроили так, видно, потому, что привез меня в госпиталь сам комиссар.

Когда я открыл глаза, наступало утро: сквозь обледенелые стекла сочился мягкий снежный свет. У двери, на косяке, еще горела керосиновая лампа с круглым жестяным рефлектором. Прямо под ней, на полу, метался и громко бредил больной.

Как я узнал позже, с того дня, как я попал в госпиталь, до момента, когда очнулся, прошло четырнадцать дней — все это время я пролежал в жестоком бреде и жару. Очнувшись, был настолько слаб, что не мог поднять руки. Хотелось пить. Я напрягся, чтобы крикнуть, но губы шевельнулись, не издав ни звука. И опять — туман, забытье. Когда надо мной склонилось похудевшее лицо Сони, в окна, во всю свою холодную зимнюю силу, светило солнце.

Потом, помню, около моей койки стояла в белом халате незнакомая мне женщина и, трогая мой лоб приятно холодной ладонью, говорила кому-то, кого я не видел:

— Ну, наш беззубенький выкарабкался...

И опять я проваливался в темную пустоту сна, и опять просыпался и смотрел в окно, то задернутое темной пеленой ночи, то играющее в солнечном луче гранями льда, то окрашенное пожаром заката. Жизнь медленно и трудно возвращалась в мое тело: неподвижно лежа, я с радостью прислушивался к тому, как она все более сильными струями течет во мне — в худых руках, в груди, как она журчит там, словно весенний ручей.

Я был счастлив, что койка моя стоит у окна и мне видно небо. В теплые дни ледяная броня на стеклах делалась тоньше, прозрачнее, в ней появлялись круглые просветы — такие получаются на замерзшем окне, если на него подышать. Когда я не спал, я смотрел в окно почти не отрываясь — это, вероятно, инстинкт жизни заставлял меня отворачиваться от чужих страданий.

Выздоровляли или умирали одни, их место занимали другие. Выздоровливающие ковыляли от койки к койке, разживаясь бумажкой или табачком, разнося новости. Я сначала ни на что не обращал внимания, как будто лежал в совершенно отдельном помещении, как будто моя койка стояла в пустоте, залитой солнечным светом, ожиданием выздоровления и жизни. В этой солнечной пустоте время от времени появлялись два человека — Соня и Вандышев. Соня подходила, поднимала меня, поддерживая за спину, поила, кормила. И мне были бесконечно отрадны эти ее легкие и в то же время сильные прикосновения, сердце мое наполнялось благодарностью к ее чутким рукам, к ее улыбке. Но непонятное чувство мешало мне. Как только появлялась Соня, меня охватывало тягостное недоумение: мне было необходимо что-то вспомнить, и я никак не мог вспомнить — что.

Из состояния дремотного сна меня вывел один эпизод.

На койке рядом со мной умирал красноармеец Глухов, огромный, плечистый человек с серой щетиной, торчащей из глубоко запавших щек, с большими светло-голубыми, уже не видящими глазами. Он умер тихо, ночью, почти на рассвете. Я очнулся, сам не знаю отчего, очнулся и открыл глаза. Тщедушный солдатик, двигаясь неловко, стара-

ясь не зашибить культяпку ампутированной ноги, возился у изголовья Глухова, шарил под подушкой, держась одной рукой за спинку койки.

В ответ на мой взгляд он подмигнул:

— Гляжу — кисет у него где... он напоследок и не курил вовсе.

Потом пришла Соня и с ней еще один санитар, недавно выздоровевший паренек, почти мальчик, качающийся и худой. Они принесли полотняные носилки и хотели положить на них Глухова, но никак не могли снять его с койки: ноги умершего оказались просунутыми между прутьями в спинке койки и так застыли. В конце концов его вывезли вместе с койкой.

Вот этот случай и заставил меня по-настоящему очнуться. С этого часа я уже не находился в солнечной пустоте, где не было ничего, кроме приятных воспоминаний и надежд, неясных и светлых. Теперь меня болезненно остро касалось все происходившее кругом, как будто кто-то мстил мне за то, что я долгое время стоял в стороне, не прикасаясь к ранам, которые наносила людям жизнь.

Именно тогда я впервые с поразительной отчетливостью увидел свои последние перед госпиталем дни, словно ослепительный столб прожекторного света ударил туда, в прошлое. Мраморный лобик Подсолнышки, скрип широких полозьев по снегу, белые ветви деревьев, ломающиеся от тяжести инея, желтая пасть могилы и беззащитный гробик в ней, сколоченный из изъеденных древоточцем досок. Именно тогда в мою душу со всей силой ударила смерть Сашеньки, именно тогда я понял, что больше никогда не увижу ее синих, доверчивых и добрых глаз, не услышу ее голоса, ее смеха. И все для меня померкло, все потеряло цену.

Как раз тогда я начал понимать, что меня беспокоило при взгляде на Соню: она принадлежала к враждебному мне миру, который я привык ненавидеть, который был виноват в гибели отца, в смерти Подсолнышки, в болезни мамы. Во мне опять просыпалось подозрение, что уход Сони от отца — это неправда, обман: сейчас, когда советская власть победила, даже самые ярые враги вынуждены признавать ее и подчиняться ее приказам. Может быть, и Сонька такая? Мне было неприятно думать так, потому что она мне нравилась, нравились ее ловкие руки, ее доброе лицо, ее улыбка.

Становилось теплее. В палатах госпиталя менялись люди: одни, выздоравливая, уезжали на фронт, в основном на Южный, — именно там, под Новороссийском, шли теперь ожесточенные бои; другие, потерявшие руку или ногу, уходили в "мирную жизнь", ковыляя на самодельных костылях и культяках. Скоро должна была наступить и моя очередь. И вопрос о том, куда я пойду, начинал смутно беспокоить меня. Родных у меня не осталось, идти было некуда, и я решил: выздоровею и уйду на фронт, на мой век боев хватит.

Соня относилась ко мне хорошо. Иногда, в редкие часы затишья, вечером или рано утром, она подсаживалась ко мне на койку, и мы разговаривали обо всем, что приходило в голову. Я и раньше знал, что она училась в гимназии, но меня поразило то, что и она читала "Овода" и то что книга ей нравилась. Это, помню, меня даже обидело: эта прекрасная книга была моя, ее должны были ненавидеть Кичигины.

— А разве среди революционеров не было людей из дворян и духовенства? — спросила Соня.

Я подумал об Оводе и согласился:

— Да, были.

— Ну вот, видишь, — сказала Соня, вставая. На секунду она задумалась, щеки у нее порозовели. — И Ленин до революции был дворянином.

Я даже приподнялся на койке. — Ну, это ты врешь!

— Я тоже не знала, — насильно укладывая меня, негромко сказала Соня

— Мне Сережа сказал. Да ложись же ты!

— Какой Сережа?

— Какой... Ну Вандышев — Лицо у Сони пятнами покраснело, и она, ничего больше не слушая, убежала.

А я лежал и спрашивал себя: почему она назвала Вандышева Сережей, почему покраснела? Мне все еще невдомек было, что за те две недели, которые я провалялся в бреду, жизнь на земле шла своим чередом.

Однажды Соня принесла и потихоньку сунула мне под подушку две печеные картошки. Они были еще теплые и пахли золой. Это было в день, когда по госпиталю проводился сбор пожертвований для Красной Армии. Раненые и больные отдавали табак и бумагу, у двоих были шерстяные носки, у одного почти новые рукавицы, многие отдавали деньги, чтобы комиссия купила табаку или сухарей.

Легостаев, у которого была ампутирована нога, отдал один сапог. "Может, найдет-ся и там калечный вроде меня", — невесело пошутил он. Раненый комиссар Свитин отдал золотое обручальное кольцо, а врач Мария Петровна Стюарт — гранатовые сережки. У меня не было ничего, кроме двух печеных картошек, спрятанных под подушкой. Я лежал и думал: можно ли послать их?

В эту минуту к моей койке и подошел Вандышев — в последние дни он часто навещал меня. Правда, в госпиталь он ходил и раньше, наблюдал за тем, как содержатся раненые, хорошо ли их кормят и лечат. Но, как мне тогда казалось, ко мне он проявлял более дружеское внимание, чем к кому-либо другому.

Он уселся на подоконник рядом с койкой и, свертывая папиросу, спросил, как дела. Я сказал, что, наверно, скоро выпишусь и уеду на фронт.

— Да тебя же любая сопля перешибет! — засмеялся он.— Очень ты на фронте нужен. Мы тебе здесь дело найдем.

Подошла Соня, застенчивая и смущенная. На щеках у нее опять пылали красные пятна.

— Здравствуйте, — сказала она, на секунду вскидывая на Вандышева сияющие глаза. — Бинтов еще не привезли?

— Нет, — покачал головой Вандышев, и темное лицо его, когда он смотрел на Соню, светлело. — Устала?

— Да нет, что вы!

Ее позвали из соседней палаты, и она убежала.

Вандышев рассказал мне, что мать моя так никого и не узнаёт, только смеется и молится. Временами ей мерещится, что вернулся отец, она разговаривает с ним иногда обо мне, а больше о Саше — сестренку она, конечно, любила сильнее.

Обычно, явившись в госпиталь, Вандышев проходил по всем палатам, присаживался на койки к выздоравливающим, делился табачком, рассказывал новости — он называл это "завернуть политику".

Помню, что новости, которые он сообщал нам, становились день ото дня тревожнее. С наступлением весны снова оживились вражеские армии на юге Украины и на западе. Поляки готовились к походу на нашу республику. Дядя Сергей говорил, что Америка передала Польше все свои военные запасы, оставшиеся в Европе после первой мировой войны: более двадцати тысяч пулеметов, двести танков, триста аэропланов, — эти цифры я помню. А на юге врангелевская армия, имея за спиной хорошо укрепленный Крым, наступала на Донбасс и Каховку. Туда, в Крым, на американских пароходах "Санго-моне" и "Честере Вальси" было доставлено четыреста тысяч ящиков шрапнельных снарядов и взрывчатки. В общем, по заключению Вандышева, снова

“накатывался штормяга”.

- Скоро и я, брат, уеду, — сказал он, вставая. — Надоело околачиваться в тылу, да вот все не пускают, черти. Ну, бывай!

Я остановил его, взяв за горячую, сухую руку, и сказал про картошку. Он подумал, глядя в стену поверх моей головы. Снова сел и спросил:

- А откуда картошка?

- Соня...

- А! Она добрая... А ты сам-то что же, не хочешь есть? Что я мог ему ответить? Конечно, мне очень хотелось съесть эту картошку, но у меня не было даже щепотки махорки, чтобы высыпать ее в общую кучу табак на табурете посреди палаты. Но я не хотел, не мог быть хуже других.

- Н-да! Хорошего ты батьки сын, Данька! — С пристальным любопытством разглядывая меня, Вандышев покрутил головой. — А посылать картошку, ясное дело, нельзя. — Он вдруг озорно усмехнулся: — А знаешь что?

И посоветовал разыграть эти две картофелины в лотерею.

Через два дня в газете “Путь борьбы” была напечатана заметка без подписи. Я думаю, что написал ее сам Вандышев. В ней говорилось: “Больные и раненые второго госпиталя в пользу “Недели фронта” устроили американскую лотерею. Были разыграны имевшиеся у больного Д. две вареные картошки. В пользу “Недели фронта” выручено 780 рублей”.

12. ТОВАРИЩИ УЕЗЖАЮТ НА ФРОНТ

До того, как я попал в госпиталь, я думал, что я очень много знаю, что я много пережил и испытал. Но оказалось, мой прежний мир был до убожества мал: в нем жило и боролось, любило и страдало всего несколько десятков человек. А настоящий мир был подлинно необъятен: в нем миллионы гдадей рождались и умирали, страдали и радовались, приходили и уходили. И каждый из этих людей имел свое собственное отношение ко всему остальному на земле, имел свой круг представлений о счастье и жизни.

Лишь во втором месяце болезни я стал внимательнее присматриваться к людям, окружавшим меня в госпитале, и на фоне чужих жизней мои собственные страдания и радости показались мне мелкими и ничтожными. Это тоже, как мне кажется, помогло выздоровлению, потому что иначе чувство сиротства, охватившее меня тогда, было бы очень сильно,

Да, многие дорогие мне люди ушли из жизни, но мир не был для меня пустым. В него все плотнее день ото дня входили многие другие, и прежде всего Вандышев. При ближайшем рассмотрении он оказывался вовсе не таким уж суровым: у него были удивительно мягкие, женственно красивые глаза, особенно когда он улыбался. Он был грубоват, любил соленое солдатское слово, как он сам говорил, но это шло вовсе не от врожденной грубости. Раза два он принимался рассказывать мне о своей родной деревне где-то в Сибири, и такими радостными, такими родными казались мне нарисованные им березовые пейзажи и синие озера, такой мощью веяло от таежных просторов! О своей семье Вандышев никогда не говорил: вероятно, слишком свежа была рана, чтобы можно было ее тревожить. Он очень любил говорить о том, какая прекрасная жизнь настанет для трудящихся после того, как мы победим всех врагов и справимся с послевоенной разрухой. И лицо у него во время таких разговоров становилось одухотворенным, как бы светящимся изнутри. Я вспоминал, как иногда по ночам, оставшись из-за срочной работы в типографии, я украдкой наблюдал за Вандыше-

вым. Все давно уже спали, а он сидел за столом, подперев кулаками голову, и, наморщив лоб, что-нибудь читал, шевеля губами. Устав, он закуривал и, откинувшись к спинке кресла, с удовлетворением смотрел в лепной потолок, на котором резвились гипсовые купидоны. Потом говорил: "Так!" — и снова принимался за книгу.

Интересно было мне наблюдать и за Соней Кичигиной. Раньше она казалась мне балованной буржуазной девочкой, которую я ненавидел, ненавидел бездумно, не размышляя,— мы с ней, как это принято говорить, стояли по разные стороны баррикады. Но, когда я увидел, как она ухаживает за больными, не гнушаясь ни ран, ни грязи, ни матерной брани, когда я увидел на ней такие же опорки, какие были в то время на всех нас, я еще раз подумал: а ведь не одна она пришла в революцию из враждебного класса. А тут еще Вандышев подтвердил мне, что Ленин — бывший дворянин. Это меня поразило. Я считал Ленина рабочим, таким же, каким был мой отец, каким был дядя Коля. А оказывается, все в мире было сложнее, чем я думал. И похудевшие, побледневшие щеки Сони были для меня одним из доказательств этого.

Жила Соня при госпитале, в комнате под лестницей, где спали по очереди три наши "милосердные сестры": две девушки, Соня и Тamarочка, и бывшая прачка, пожилая, некрасивая, вся в родинках Марина Николаевна. У них тогда не было ничего такого, что сейчас определяется понятием "рабочий день", — они работали все время, когда это было нужно.

Соня не дружила по-настоящему ни с юркой, похожей на козочку, темноглазой Тamarочкой, ни с Мариной Николаевной — между ними несмотря на общность труда, стояла невидимая преграда. Объяснялось это тем, что Соня — дочь торговца, которого все в городе хорошо знали, тем, что она училась в гимназии.

Отдаляло Соню от подруг, видимо, и то, что раза два в неделю к ней приходил отец. Однажды, когда я уже мог сидеть, привалившись к спинке кровати, я видел, как старик Кичигин — совершенно непохожий на того сытого, черноусого мужчину, который когда-то, важно сидя за прилавком, читал "Биржевые ведомости", — робко топтался на крыльце госпиталя, разговаривая с Соней. В его фигуре, пришибленной и жалкой, в самой его, может быть нарочито бедной и неряшливой, одежде, в том, как он заискивающе смотрел на Соню, я увидел многое, чего не замечал раньше.

Мне не было слышно слов их разговора, я только видел, как они шевелили губами: Кичигин — торопливо и виновато упрямая о чем-то, а Соня — не глядя на него, упрямая и строгая, какой никогда не бывала в палате. В конце разговора, что-то стерев со щеки худой vareжкой, Кичигин так горько, так потерянно махнул рукой, что мне даже стало его жалко. Он молча протянул дочери небольшой узелок, но она сначала отрицательно покачала головой и только после некоторого раздумья взяла узелок и ушла.

Что было в узелке, я узнал получасом позже: несколькими больным, в том числе и мне, Соня сунула по кусочку лепешки. Я съел этот кусок, думая о Кичигине и вспоминая нашего мельничного мастера Мельгузина, всю жизнь любившего мою маму и погибшего страшной, одинокой смертью. Вот и этот Кичигин, человек когда-то богатый и гордый, которому я завидовал чуть не с первых дней моего голодного, нищего детства, человек, гордившийся тем, что у него сын "первеющий на весь город красавец, можно сказать" и "дочь в гимназиях вместе с знатными девицами обучается", — что оставалось ему теперь в жизни? И вспомнилась мне еще одна подробность, которую я знал о Кичигине с детства. Когда-то у него была великолепная ангорская кошка Нянда, мальчишкой я ее частенько видел у него в магазине. Каждый год она приносила ему нескольких котят, но он собственноручно топил их в ведре, предварительно, из фари-

сейской жалости, подогрев воду. Топил он котят потому, что не хотел, чтобы у кого-нибудь в городе была такая же ангорская кошка, как у него. Няня эта давно сдохла, и в доме Кичигина, кроме него самого и страшной горбатенькой прислуги — какой-то дальней его родственницы, — вероятно, не было теперь ни одного живого существа.

И мне уже казалось странным, что я мог когда-то завидовать такому человеку. Вот я выздоровею, пойду на фронт, мы победим всех врагов, и какая же безграничная жизнь распаивается перед тобой, Данька! Я думал, что, когда на всей земле жизнь будет мирная и хорошая, я повидаю все интересные страны: и эти самые, манящие, как сказка, Гавайские острова, и Индию, и Африку, а одинокий, никому не нужный Кичигин так и умрет за своим высоким забором.

Иосиф Борисович тоже, уже перед отъездом, навестил меня. Ничего не видя со света, протирая очки, он долго топтался в дверях палаты. У меня взволнованно забились сердце: к кому пришел? Ко мне? Но, постояв и так, видимо, и не найдя того, кого ему было надо, Гейер вышел. Не могу сказать, какой горькой обидой наполнилось мое сердце: даже не подошел! Я и не представлял себе, как изменила меня болезнь — я был стриженный, белый, с костяным лицом.

Через минуту Иосиф Борисович вернулся вместе с Соней, и она, улыбнувшись ему, неслышно подошла к моей койке.

— Да вот же он, наш Данька!

Она подставила к моей койке табурет, и Гейер сел. Снял свою старенькую кепку, с доброй и виноватой улыбкой долго рассматривал меня сквозь блестящие стекла очков, одно из которых было теперь разбито. Лицо у него — бледное и усталое, рот смяли с обеих сторон суровые складки. Я не удивился этим переменам, так как из рассказов Вандышева знал, что Гейеру пришлось несколько раз выезжать с продотрядом в села, где кулаки отказывались сдавать хлеб.

— А ты, Даня, хорошо выглядишь. Ей-богу! — сказал Гейер с подчеркнутой бодростью и покраснел. Снял очки и, часто моргая светлыми ресницами, посмотрел на меня с выражением какой-то особенной нежности — так на меня иногда смотрела мама, — Теперь скоро встанешь?

- Наверно, скоро.

— Давай вставай. А то ребята по тебе соскучились. Соня стояла рядом, освещенная бьющим в окна солнечным светом, и с улыбкой слушала. Гейер, помявшись, виновато взглянул на нее снизу вверх.

— Я тут, Сонечка, небольшую передачку принес. Можно?

— Ну конечно же! — по-детски взмахнув руками, обрадовалась Соня.—Мы всегда рады, когда кто-нибудь добрый приносит нам передачки. У нас ведь только суп да каша. А они знаете как есть хотят, которые выздоравливают?! У-у! Обжоры Гейер достал из кармана пиджака завернутую в газету горбушку черного хлеба и две маленькие, сухие, как камень воблы. Я заметил, что его белые худые пальцы стали еще длиннее, еще больше похудели.

- На вот, друже, — сказал он. — Извини за бедность, сам знаешь...

Меня охватило странное, до слез, волнение. Хотелось заплакать от благодарности к этому почти незнакомому человеку, который принес мне свой недельный паек. Но я, конечно, не заплакал, а только грубовато отмахнулся:

- Ну вот еще!

Гейер с мягкой настойчивостью положил хлеб и рыбу на одеяло, рядом с моей койкой.

- Я ведь попрощаться зашел, — не давая мне возразить, поспешно продолжал он.
— Уезжаю, брат...

- Куда?!

- На фронт, друже! На Украину вторглись белополяки Прут на Киев.

Больные прислушивались к словам Гейера. Многие приподнялись на койках. Лежащий через койку от меня Бардин сел, свесив на пол босые, желтые, как репа, ноги.

- Опять, значит, лезут?!

И сразу откликнулось несколько голосов, загудели, заговорили.

Гейер улыбнулся Бардику своей обычной сдержанной улыбкой:

- Ничего, товарищ! Ленин пишет, что мы их побьем. Значит, побьем. — И снова повернулся ко мне: — Вот так-то, друже. Прощай, значит. — И встал. — Пойду собираться.

- Уже?

- Пора. Я ведь не один еду, целой артелью гремим.

- А из наших кто еще?

- Да кто... Юра едет... еще комсомольцы едут... Вандышев...

- Соня негромко вскрикнула и схватилась рукой за грудь. Когда я взглянул на нее, меня поразило выражение ее лица. Рот открылся, красивые серые глаза стали странно большими, и в них стремительно накапливались слезы.

- Да как же так? — растерянно спросила она. — Да как же это? Боже ты мой!

Она рывком повернулась и ушла.

И только тогда я понял нехитрую историю этой, только что начавшейся любви. Я припомнил румянец волнения, которым озарялось лицо Сони, когда приходил Вандышев, ее робкие и ласковые взгляды, веселую стремительность, с какой она принималась в его присутствии носиться по палатам.

“Так вот оно что! — думал я после ухода Гейера. — А ты воображал, дурак, что это ради тебя Вандышев так часто ходит в госпиталь, что это ради тебя целыми часами просиживает в палате!” Я вспоминал, как Соня много раз провожала Вандышева на крыльцо и как они стояли там, разговаривая и улыбаясь друг другу, — совсем не такие, какими были в палате. Иногда Соня спускалась с крыльца и провожала Вандышева дальше, мне не было видно куда..

Палата жила своей привычной жизнью, а я лежал и думал. Вот, значит, как! Уезжает Гейер, уезжает Вандышев, уезжают мои укомолы. Уезжают все, кто способен носить оружие. И опять я один.

Смеркалось.

За день лед на окнах почти растаял, отчетливо чернели голые ветви тополей, красным пылающим шаром катилось по городским крышам солнце. Небо вздымалось чистое, залитое каким-то подводным зеленоватым светом; черными тенями проносились птицы.

13. „ХЛЕБЦА БЫ ДОСЫТА ПОЕСТЬ...»

Но оказалось, что Вандышев уехал не сразу: некому было сдать дела по Чека и комиссариату. А положение в уезде оставалось тяжелым: сопротивление кулачья все нарастало. По рассказам того же Вандышева я знал, что в те дни продовольственные отряды, отправлявшиеся в уезд, снабжались не только мандатами и литературой, но и бомбами.

Как только по селам прошла весть о новом вторжении Антанты на Украину, кулачье и, прятаясь по всяким подпольям белогвардейцы, зашевелились. Чаше стали

поступать сведения об изуверских убийствах председателей комбедов и сельсоветов, коммунистов и продовольственных уполномоченных, о бесчеловечных надругательствах над ними. К нам в госпиталь с площади Павших борцов то и дело долетало замедленное, скорбное дыхание духового оркестра, это хватающее за душу "Вы жертвою пали", — хоронили тех, кого привозили домой из последних командировок. Сейчас, спустя сорок лет, когда я вспоминаю то тревожное время, мне часто приходят на память стихи моего друга, безвременно погибшего Виктора Багрова:

Рассекая над собою
Белый омут высоты,
Колокольни поднимают
Обагранные кресты,
И ревет, как зверь голодный,
Над разбуженным селом
Бог кулацкого восстанья
Колокольным языком.

И еще:

Только спят, разгладив брови,
И проснуться им нельзя.
Наши лучшие ребята,
Наши лучшие друзья.
Кровь застыла над губами
Как сургучная печать,
Не могли мы при разлуке
Эти губы целовать.
Спят они, разгладив брови,
Безмятежным вечным сном,
Зацелованы до крови
Вороненым топором.

Мне кажется, что приведенные мной строчки очень точно передают атмосферу тех дней, когда каждую минуту можно было ожидать какой-нибудь вражеской вылазки, какой-нибудь провокации. А у нас в уезде именно Вандышев был той силой, которая ломала в самом истоке вражеское сопротивление.

И только в конце апреля, когда телеграф принес известие, что белополяки вплотную подошли к Киеву, настало время и для Вандышева идти на фронт.

В тот день, накануне его отъезда, мне опять приснилась Подсолнышка, приснилась так отчетливо, так ярко, словно я видел ее наяву. В ситцевом белом с синими горохами платье, с растрепанными льняными волосенками, она подошла к моей койке и, засмеявшись, излучая глазенками синий ласковый свет, тронула пальчиком мои губы: "Все не выросли зубки?" А потом села рядом на койку и заплакала, сказала сквозь слезы: "К тебе, Дань, хочу, к мамке".

Этот сон опять с беспощадной силой повернул меня лицом к прошлому. И сразу отошло в сторону и ощущение выздоровления и сама искрящаяся, хотя и замедленная радость возвращения к жизни — все, что наполняло меня в те дни.

А утро было солнечное и тихое. Ласковый, бархатный свет солнца неслышно плыл в

окна веселыми, пронизанными пылью реками — в этом радостном, непрерывно струящемся сиянии так неприглядно, так страшно выглядели наши бескровные лица и руки, наша убогая одежка.

Недалеко от меня метался в бреду молоденький, еще безусый солдатик с выпуклым крутым лбом и скорбными, чуть перекошенными губами, несколько дней назад его сняли с одного из сибирских эшелонов. Вообще из сибирских поездов в наш, самый близкий к вокзалу, госпиталь поступало много больных: в Сибири свирепствовал тиф. Хотя тиф в тот год косил тысячи людей не только в Сибири.

Глядя на воспаленные, невидящие глаза соседа, на его покрытый испариной лоб, я вспоминал телеграммы, которые мне пришлось набирать за день до того, как меня свалила болезнь. В одной из них говорилось, что, "покидая Харьков, белые оставили там двадцать тысяч тифозных больных".

Я лежал, вспоминал, думал. А солнце светило с весенней щедростью, и на подоконниках вихрастые воробышки, греясь на солнечном припеке, с суматошной деловитостью чистили перышки.

Теперь, когда с окон спала ледяная броня, я окончательно узнал дом, где помещался госпиталь, узнал по деревьям в саду, по голому бронзовому мальчугану, который держал в руках большую рыбу. Это был дом князя Калетина.

Кстати, совсем недавно, через четыре десятилетия после тех событий, я получил из родного моего города письмо. Прислал мне его Валерик — младший Юркин сынишка. Он пишет, что в калетинском доме теперь помещается городской Дворец пионеров. Значит, в той палате, где когда-то лежали мы, гомонят с утра до вечера ребята. Мне было очень радостно это прочитать.

Но, оглядываясь на те дни, я вспоминаю, что даже у тяжелобольных не было тогда чувства подавленности, обреченности, все спешили, торопились поскорее выздороветь и уйти из госпиталя: каждого за стенами госпиталя ждали важные, неотложные и радостные дела.

- Земля-то уж, поди-ка, отмякла. Теперь самая об семенах забота, — задумчиво говорил, сидя на подоконнике и попыхивая сигаркой, Бардик, бородатый солдат с светлыми, чуть удивленными, неподвижными глазами, с рукой на перевязи, — Ох, до чего же, братцы, охота босыми ногами по талой земле походить. А? И до чего же пахать охота — так бы ее руками и ковырял. Аж ладони чешутся.

- А на чем пахать? — хмуро отозвался от самой двери Легостаев, скуластый, с болезненным лицом. Он сидел на своей койке и с тоской смотрел в окно.

- А хучь на корове! — весело сверкнул глазами Бардик.

- А ежели у меня ее нету? Одна кошка в хозяйстве оставалась. Да и ту, поди-ка, в голодуху сожрали.

- Ну, помогут! — воскликнул Бардик. — Чай, советская власть, она, милый ты мой, своя, наша. У вас земли-то какие?

— Раньше все суглинок был. А как помещичью да кулацкую поделили, пишут — ничего, жить можно. — Легостаев замолчал на мгновение и вдруг сказал с непередаваемой болью: — Эх, ногу мне вот как жалко! — Вздохнув, он бросил мгновенный сердитый взгляд на свою культяпку. — Какой же я без нее пахарь?

— Ну, шорничать станешь, хомуты там всякие, шлеи... тоже в хозяйстве нужное. Аля сапоги шить. Не обучен?

— Нет.

— Ну, выучишься, дело нехитрое, были бы руки! Да и вообще сказать, неужели не найдешь дела? Да боже-ж ты мой! Вот только бы отсюда поскорее вырваться. Да

хлебца бы досыта поесть. А то бы еще картошки жареной.

— Это бы да! — вздохнул третий.

И начался бесконечный разговор о хлебе, о земле, о праздниках и буднях — обо всем, из чего складывается жизнь. Я не раз замечал, что в больнице, так же как в тюрьме, люди очень много говорят о том, чего лишены: о воле, о еде, о родных. Вместе с радостью, которую эти разговоры приносят человеку, они поддерживают в нем силу и желание жить, хотя и доставляют боль.

14. «ПАДАЛЬ БУРЖУАЗНАЯ...»

Солдатский разговор о земле и хлебе был прерван приездом Вандышева.

Услышав негромкий дребезг колес под окном, я приподнялся на койке, выглянул. У крыльца остановилась пролетка, запряженная одним из серых барутинских жеребцов, худым и облезлым. В пролетке сидели трое: Вандышев, маленький солдат с невыразительным, серым, испянтанным веснушками лицом, с винтовкой, поставленной между коленями, и незнакомый мне рыжий человек. Он был в военной фуражке со светлым пятном от сорванной кокарды. Когда рыжий ступил на землю, оказалось, что одна нога у него деревянная, он с силой опирался на толстую некрашеную самодельную палку.

Следом за рыжим выпрыгнул из пролетки Вандышев и вытащил большой тюк, завернутый в серое одеяло. Неловко, цепляясь прикладом винтовки за жестяное крыло пролетки, слез с козел солдатик. И все трое один за другим молча поднялись по истертым ступеням каменного крыльца.

Кажется, я забыл сказать, что рядом с нашей палатой помещалась небольшая, в одно окошко, комнатка — дежурка, где на табурете возле столика с ночником, коротая спокойные, если они выдавались, часы, дремала по ночам санитарка. Из дежурки одна дверь вела в нашу палату, а другая, в противоположной стене, — в коридор, откуда можно было выйти на крыльцо.

В дежурку, где в это время никого не было, и вошли Вандышев и рыженский одноногий военный. Веснушчатый солдат с винтовкой остановился на пороге, не решаясь войти, беспокойно посматривая в раскрытую дверь нашей палаты.

Вандышев бросил на пол тюк в сером одеяле и тяжело перевел дух. Висморкавшись в грязный платок, заглянул в нашу палату, кивнул больным, едва заметно улыбнулся мне. Громко позвал:

— Соня!

На его темном, заострившемся лице были озабоченность и тревога, лоб пересекала косая черта. Я потянулся навстречу, думая, что он подойдет ко мне, как всегда, но он не взглянул больше в мою сторону.

— Софья! — сердито позвал еще раз.

Далеко, через несколько комнат, хлопнула дверь, послышались стремительные шаги. Соня вылетела из глубины дома, как большая белая птица — на дежурной сестре последнее время всегда был надет белый халат, они носили его по очереди. Не очень чистый, с пятнами крови, он все же казался в нашей палате ослепительно белым.

Соня вбежала в дежурку и остановилась, в радостном смятении всплеснула руками:

— Сереженька! Не уехал?

Смущенно оглянувшись на рыжего военного, приехавшего с ним, Вандышев посмотрел на Соню строго, и она забормотала смущенно и виновато:

— То есть, я хотела... не уехали, товарищ комиссар?

— Завтра уеду. А пока вот — простыни на бинты... Пришлось опять по буржуйам одалживаться. — Он махнул рукой на тюк, вскинул потеплевшие глаза и сказал Соне тише: — И у твоего были. Плачет старичишка: уж ежели, говорит, дочку отняли, так и всё берите, не жалко. Врет, мерзавец!

Соня сейчас же принялась развязывать тюк, но Вандышев остановил ее:

— Погоди. Успеется. Позови сюда этого...

— Кого? — спросила Соня.

— Ну, Шустова!

Шустов работал в нашем госпитале.

Надо сказать, что за последние недели к нему в госпитале привыкли, привыкли подчиняться его властному, непреклонному характеру. И не только врачи и сестры: самые отчаянные, самые взбалмошные больные побаивались этого огромного, сильного человека, смотревшего на все кругом с барственным пренебрежением. Уважать его заставляло и то, что он был замечательным хирургом.

— Где он? — спросил Вандышев.

— Там. — Соня показала в глубину комнат.

— Операций сегодня не делал?

— Нет. Из укома, говорит, почему-то запретили. Злой. Ну и пусть гниютговорит...

А ведь есть тяжелые.

— Иди, — перебил Вандышев. — Зови.

Операционная находилась в другом крыле дома, стоны и крики даже во время самых тяжелых операций в нашу палату не доносились.

Соня ушла.

Я думал, что теперь Вандышев обязательно подойдет ко мне. Ведь сам же сказал, что завтра уезжает, неужели не подойдет попрощаться! Но он стоял молча, сбывчившись, неподвижно глядя своими угольными глазами в пространство.

В нашей палате, где помещалось тогда человек двадцать, все насторожились. Стало тихо, только молодой, крутолобый солдатик мычал в бреду:

— Лыжи-то надень, без лыж в тайге знаешь... Наконец в соседней палате послышались тяжелые шаги — я сразу узнал походку Шустова. Хирург прошел по палате ни на кого не глядя, полы его халата развевались по сторонам. Войдя в дежурку, он кивнул Вандышеву и властно спросил:

— Ну! Где анестезирующие средства?

Я думал, что Вандышев, как и в прошлые свои приезды, начнет оправдываться, объяснять, почему задержка, но он молчал. Взглянув на его лицо, я испугался, так испуганно горели на нем глаза. Расстегивая кобуру маузера, Вандышев глухо сказал:

— Скинь халат!

Все, кто мог двигаться в нашей палате, потянулись к дверям. Даже тяжелобольные приподнялись на койках — очень уж страшно прозвучал голос "бешеного комиссара", очень уж много ненависти вложил он в два коротких слова.

— Что? Здесь я... — начал было Шустов своим рокочущим шалыпинским басом.

Но Вандышев рванулся к нему и крикнул на этот раз во весь голос:

— Скинь халат, говорю! Гад!

Мне была видна широкая спина Шустова. Пожав плечами, чуть помедлив, он легким движением плеч скинул халат и брезгливо свырнул его на табурет.

— Ну? — спросил он высокомерно. — А потом опять будете просить, чтобы я на

вас работал?

— Нет, — бросил Вандышев. — Больше не будем!

Он подошел вплотную к Шустову. Тот спокойно стоял, ждал. Вандышев был на целую голову ниже хирурга и уже его в плечах — казалось, Шустову стоит только махнуть рукой и от “бешеного комиссара” не останется и следа.

— А ну, иди сюда! — сказал Вандышев и, обойдя Шустова, пошел в нашу палату, где все больные, предчувствуя недоброе, поднялись на койках.

Чуть помедлив, Шустов вошел следом за Вандышевым и встал посреди палаты. В его походке, в выражении его холеного, чисто выбритого лица появилась необычная для него неуверенность.

— Вот я хочу, — продолжал Вандышев, — чтобы все они, — он широко повел по палате рукой, — чтобы все они слышали наш последний с тобой разговор. — Он опять подошел вплотную к Шустову и спросил его громким горячим шепотом: — Ты зачем, гад, ногу Легостаеву отрезал?

Шустов чуть заметно побледнел.

В палате стало так тихо, что отчетливо слышался воробьиный писк за окном. Здесь, в нашей палате, кроме Легостаева, лежало еще трое больных, которых оперировал Шустов, — обмороженные руки и ноги — гангрена. Слова Вандышева как бы вскинули их на койках. Легостаев с выпученными глазами и открытым ртом сел на койке, беспомощно шаря в воздухе рукой. У двери дежурки Соня ахнула и обеими руками схватилась за грудь.

— Значит, надо было, вот и отрезал, — с усилием ответил Шустов. — Я — хирург. Мое дело — резать.

— Твое дело здоровых людей резать? Ногу-то можно было спасти.

— Откуда вы знаете? — надменно вскинулся Шустов. Все его высокомерие вернулось к нему. — Вы же, насколько я понимаю, даже не коновал?.. Я ему жизнь спасал, а...

Судорожным движением Вандышев выхватил из кармана кожанки лист бумаги.

— Вот! Врачи и сестры, которые присутствовали на операции, написали. Они уговаривали тебя взять ногу в лубки? Я не врач, даже не коновал — это ты прав. Но вот пишет врач — она тридцать лет врач. Могу, я ей верить? Читай!

Шустов усталым и спокойным жестом отстранил протянутый ему листок бумаги.

— Так пусть бы она и лечила! — небрежно сказал он. — Она — терапевт. А я — хирург! Мое дело...

Но Вандышев перебил его:

— Обрадовался, монархист, что красноармейцу можешь ногу оттяпать?! Так? — Вандышев, с трудом сдерживаясь, наступал на хирурга, лицо его все больше перекашивалось и темнело.

Шустов отступал шаг за шагом, мне было видно, как дрожала его крупная белая рука.

— Но я не только это хочу у тебя спросить, подонок ты человеческий. Я хочу тебя спросить: может быть, и всех остальных, — Вандышев указал рукой на послеоперационных, — может быть, и их ты напрасно лишил половины жизни? А?

В палате стояла мертвая тишина.

— Отвечай!

Шустов молчал.

И тогда Легостаев, койка которого находилась между дверью и Шустовым, бесшумным, крадущимся движением схватил стоявший у койки костыль. Изогнувшись на койке, он, шатаясь, размахнулся и ударил сзади Шустова костылем по голове. Тот

вскрикнул, вскинув руки, схватился за голову и обернулся. И тут Легостаев ударил его второй раз.

— А-а-а! — закричал Шустов, зажав ладонями лицо.

С других коек, крича, поднимались больные. Шустов не выдержал, побежал.

На пороге дежурки Легостаев успел подставить ему под ноги костыль, и Шустов со всего размаха упал в дежурку.

Легостаев прыгал возле койки на своей единственной ноге и, захлебываясь, кричал:

— Пустите... Я ему душу через горло выну!

Но Вандышев уже стоял на пороге.

— Стойте! — сказал он. — Никаких самосудов. Будем судить революционным судом. И все вы будете на том суде прокурорами. Вот. — Оглянувшись, он вытер ладонью вспотевшее лицо и поманил к себе из дежурки рыжего одноногого человека; тот, хмурясь и часто моргая, стоял у порога.

— Вот новый хирург — Иван Силыч Панаев, — сказал Вандышев и крикнул солдату у двери, кивнув на Шустова, с трудом поднявшегося с пола: — Веди эту мразь в Чека, Сидоров! Шаг в сторону — пуля в спину. Ясно?

— Есть такое дело! Я его, гада, убогачу, — готовно, почти с радостью отозвался веснушчатый солдатик, вскидывая на руку винтовку. — Он у меня убежит! Ну, шагай, пададь буржуазная!

Шустов, понурясь, вышел в дверь.

Вандышев уехал, так и не подошел ко мне.

15. НЕНАВИСТЬ И ЛЮБОВЬ

В эту ночь в нашей палате долго не могли уснуть. Раненые и обмороженные, которым Шустов делал операции, теперь думали, что операции сделаны зря, что руку или ногу можно было спасти. Легостаев, накрывшись с головой одеялом, ворочался, вздыхал и, как мне кажется, плакал.

Прикрученная лампа на косяке двери едва светила, но через окна в палату лился таинственный желтоватый свет — луна медленно катилась над голыми верхушками деревьев.

Наконец я задремал. В полусне я скакал по Проломной улице на гривастом огненно-рыжем жеребце. Я гнался за Шустовым, а он бежал впереди, и не бежал, а летел над рыбой чешуей мостовых, размахивая белыми полами халата, как крыльями, и иногда оглядывался на меня вытаращенными от страха глазами. Под мышкой он нес отрезанную легостаевскую ногу, и мне необходимо было догнать его и отнять ногу, чтобы приставить ее назад Легостаеву. Но потом оказалось, что это не Шустов, а Соня, она остановилась посреди улицы и заплакала навзрыд, спрашивая: "А я? А я как же?"

Я проснулся.

Луна ушла в сторону, ее не стало видно, палату наполнял полумрак. Только в дежурке на столике горела лампа. В ее неярком, тающем свете я увидел Соню — она стояла, судорожно выпрямившись, и плакала, глядя на кого-то, кого мне не было видно.

— А я? — спрашивала она.

Стараясь не шуметь, я приподнялся на койке и украдкой заглянул в дверь дежурки. На табурете, широко расставив ноги и положив темные руки на колени, сидел Вандышев. Исподлобья требовательным и неподвижным взглядом смотрел на Соню, смотрел с таким выражением, словно прощался.

— А ты останешься, — сказал он наконец. — Разобьем белополяков — вернусь.

Не разлюбишь и не станешь контрой — поженимся. Станешь контрой — своей рукою убую к чертовой бабушке. Поняла?

— Не останусь я.

— Останешься..

— Нет! Ты думаешь, ты упрямый, а я — так себе? Сереженька, милый, не могу без тебя! Куда ты — туда и я. Разве же на фронте сестры милосердия не нужны?

— Ну!

— Ну вот. Ты подумай, зачем останусь? Отец грозитя убить, если не вернусь. И ведь, сам знаешь, нет мне без тебя... ничего! Прогонишь — как собачонка сзади побегу, может,— она всхлинула, — и понадобится в трудный час.

Вандышев молчал. Его лицо светилось странным ласковым светом.

— Знаешь, Софья,—медленно проговорил он, доставая кисет. — Если бы этот разговор вчера был — без слова бы взял. А нынче — не могу!

— Из-за Шустова?

— Видишь, как она глубоко сидит, проклятая ваша суты! Под тюрьму, под пулю готов — лишь бы напакостить.

— Сереженька! Так ведь я сама, сама пришла к вам. Ведь ты меня не заставлял. Правда? Ну, милый ты мой, ведь умру без тебя... руки на себя подыму...

— Не болтай глупостей!

— Нет, буду! — Соня решительно вытерла глаза и щеки. — Вот поеду с тобой, и все! А не возьмешь — вот богом клянусь, мамой покойницей клянусь, — одна уйду!

— Помолчи!

— Только и знаешь одно: помолчи да помолчи! А я у тебя не на допросе в Чека! — И вдруг неожиданно легко опустилась перед Вандышевым на колени. — Да ведь у меня на всей земле — один ты. Неужели не понимаешь?

— Вандышев молчал, глядя в пол. И тогда Соня поднялась и сказала с какой-то спокойной яростью:

— Ну, как хочешь! Навязываться тебе со своей любовью не буду. А на фронт завтра же уйду. Возьмут, врешь! Не все такие, как ты.

Вандышев встал, застегнул кожанку, лицо у него было спокойное.

— Поцелуй меня! — сказал он строго.

— Завтра в вагоне поцелую! — ответила Соня и обернулась к нашей палате: крутолобий солдатик вскрикнул в бреду. Соня неслышно прошла в палату, наклонилась над ним.

— Испить, милый? Сейчас...

В дежурке хлопнула дверь, Вандышев ушел.

Следующий день был первым по-настоящему вешним, все было напоено теплом и светом. Соня выставила в нашей палате вторые рамы, и в окна с волнующей силой ворвалась жизнь — гудками маневровых паровозов на станции, криком грачей на вершинах тополей, щебетом невидимого ручья, воробьиным писком, детскими голосами, доносившимися издалека. Солнце светило прямо в мое окно, так отрадно было ощущать на руках и лице его теплую ласку. На деревьях лопались почки, и кое-где, на солнечном пригреве, уже зеленели маленькие, словно игрушечные листочки. У каменной истрескавшейся чаши фонтана первая трава протягивала вверх зеленые перышки.

После обеда пришел Кичигин. Одетый в неимоверно рваный пиджачишко, в засаленной высокой фуражке, он несколько минут топтался у крыльца, робко заглядывая в окна и не смея попросить, чтбы вызвали Соню.

Меня, конечно, он не мог узнать — я похудел и вытянулся, рубашка висела на мне,

как на огородном пугале. И я Кичигина не узнал бы, если бы он не приходил в госпиталь несколько раз: куда девалась его сытость, его самодовольство. Сгорбленный, с седыми нечистыми волосами, как бы случайно налипшими на его острый подбородок, с нищенской палочкой в руке, он был очень похож на одного из тех бесчисленных скитальцев, которых голод гонял в те годы по всей стране.

Но вот Соня, пробегая в дежурку, увидела в окно отца, и сразу ее милая улыбка потускнела, поблекла. И, когда она минуту спустя вышла на крыльцо, лицо у нее было строгое и неподвижное.

Теперь, когда окно было распахнуто, мне был слышен весь их разговор.

- Зачем вы опять пришли, папаша? — чуть слышно спросила Соня. — Я ведь просила.

- Да ведь как же я не приду? Дочь ты мне? Ты да Анисим, никого у меня, кроме вас, не осталось. Единственные, можно сказать...

- То-то вы меня, единственную, за этого плюгавого старичишку, за Гуськова, за муж отдать норовите.

- Да ведь ладно уж. Не хочешь своего счастья — воля твоя. У него вон, погляди, два дома каких, опять же лабаз мучной. Ты бы за ним горя век не знала, как царица жила бы. А ведь все это — революции эти — пустое дело, озорство одно. А торговля, она как была спокон веков, так и будет. Без торговли ни одно государство не стоит, весь мир торговлей держится. Вот и жила бы.

- Опять вы за старое, папаша!

- Молчу, молчу. Я к тому пришел — наведалься бы домой, и обужа ведь и одежда есть, а то ходишь как гилячка какая. И опять же — поесть. Тут же знаю, на одной баланде живешь.

- Ничего мне не надо! — перебила Соня. И после секундного раздумья тихо-добавила: — Я на фронт еду.

- Батюшки, на фронт! — Кичигин вскинул руки и уронил свой нищенский посошок. Не глядя нагнулся и, отыскивая посошок, долго шарил по ступенькам дрожащей рукой. — На фронт! — У него тряслись руки и губы, правый глаз в припухших красных веках беспрерывно слезился. Он впился глазами в Соню и, видимо, не верил ей.

Но девушка смотрела спокойно и строго, и он поверил, и опять уронил палку, и бессиленно сел на ступени.

Соня стояла над ним, вероятно не зная, что делать, но в это время в глубине госпиталя раздался голос Марины Николаевны:

- Со-о-ня!

И она повернулась — уйти.

- Постой! — с неожиданной живостью воскликнул Кичигин, поднимаясь со ступенек. — Чего я тебя хочу просить, дочка... — Голос его стал почти умоляющим. — Анисима, слышь, в Чека поймали, сидит, не иначе как засудят. Будто зверствовал над красными. А? Ты попросила бы хахаля своего...

- Какого хахаля? — деревенческим голосом переспросила Соня.

- Ну, этого... комиссара твоего...

Соня несколько мгновений молчала, потом сказала медленно и раздельно:

- Он не хахаль мне, а муж., Вот! И вас, папаша, прошу больше ко мне не приходите.

- А Анисим? — шепотом спросил Кичигин, вплотную приблизив свое лицо к лицу Сони. — Очнись, бога побойся! Брат ведь! Неужто не жалко? Неужто так и погибать ему — за что?

- А скольких он людей погубил? — таким же шепотом спросила Соня. — Думаете, не знаю?

Она выпрямилась и пошла к двери.

Ушла, а Кичигин снова сел на ступеньки и, не шевелясь, закрыв руками лицо, сидел несколько часов. Иногда с надеждой оглядывался на окна, на дверь: видимо, надеясь, что Соня передумает, выйдет. Но она не вышла. Уже в сумерки Кичигин, тяжело ступая, полпелся, как побитая собака, прочь.

16. АНИСИМ

Ночь опять обещала быть лунной.

Теперь, когда стекла окон не покрывались льдом, луна в начале ночи заливала всю палату тревожным, неподвижным светом. В этом свете все становилось неральным, призрачным, как во сне. стакан на тумбочке в дежурке сверкал и, казалось, плыл по воздуху. Металлические шары на спинках одной из кроватей голубели, словно две огромные звезды, безгранично раздвигая комнату и наполняя сиянием. И было странно слышать, как в этой сказочно освещенной комнате тяжело, с присвистом, вздыхал потерявший покой Легостаев, как мой сосед говорил в бреду:

- Ну и убивай... убивай, черная твоя душа...

Но примерно в полночь все затихло, даже тяжелобольные забылись сном. В дежурку прошла наконец-то освободившаяся, заплаканная Соня, прошла и села у тумбочки. И почти сейчас же за окном мелькнула в лунном свете чья-то тень. Она пршмыгнула к окошку дежурки и постучала в него — раздался осторожный звон стекла.

Соня встрепенулась, как проснувшаяся птица, и бросилась к окну. Крикнула шепотом:

- Сережа?!

После короткого молчания глухой голос сказал за окном:

- Я это... Анисим! Выйдь на минуту...

Так вот это кто! Анисим, тот самый сынок Кичигина, который зверски расправлялся с попавшими к нему в руки коммунистами, Сонькин брат. Но ведь старик Кичигин только сегодня сказал, что Анисима поймали и он сидит в Чека. Значит, ему удалось бежать, и, дождавшись ночи, он прежде всего явился сюда к сестре? И сразу мое недоверие к Соньке вспыхнуло с прежней силой: видимо, она все это время только притворялась хорошей, нашей, а на самом деле была связана с беляками? Я сел на койке и потянулся к окну, прячась за косяк, чтобы меня не увидели со двора.

Через полминуты скрипнула одна дверь, потом, поглуше, другая, и я увидел Соньку на крыльце. Ее белый халат выделялся на фоне кирпичной стены очень отчетливо, рыжие волосы блестели под лунной, как хорошо начищенная медь. Но почти сейчас же темный силуэт Анисима, повернувшегося ко мне спиной, заслонил белый халат. Я всмотрелся. Одет Анисим был в черную, во многих местах изодранную рубашку, в такие же штаны, босой.

Напрягаясь до боли в ушах, я прислушивался: слова долетали глухо, но разобрать их было все-таки можно.

— Сережку ждала? — с ненавистью спросил Анисим.

— Уходи!—деревянным голосом сказала Соня.

— Не бойся, уйду... — Анисим помолчал и неожиданно заговорил совсем другим тоном, просительно и ласково:— Я тебя, сестренка, хочу чего-то попросить, а? Вынеси мне, Соня, бушлатишко какой рваный, а то шинелишко да ботинки у вас же после мертвяков этого добра много... Да хлеба кусок. К старику нельзя идти. Там, должно, караулят. Они палили по мне, когда я из окошка в уборной выкинулся. Вот задело чукот, в плечо. Ну да мы еще поживем. Иди вынеси.

— Уходи, — с тем же выражением повторила Соня.

— Значит, родному брату помочь не хочешь? — свистящим шепотом спросил Анисим. — Значит, пусть погибаю? Да? (Соня молчала.) Ну и тебе тогда... Иди, говорю, ежели дальше жить хочешь. (Соня молчала.) Нас много, мы тебя всеравно найдем.

Соня повторила, повысив голос:

— Уходи, а то крикну.

И тут я увидел отведенную за спину правую руку Анисима — она сжимала черный железный прут, тяжелый, оттягивающий руку вниз.

Когда он размахнулся, я рванулся к окну, изо всей силы ударил в стекло кулаком, закричал:

— Соня!

Анисим рывком обернулся на звон брызнувшего в стороны стекла, но это не помешало ему ударить. Соня вскрикнула и откинулась к стене. Анисим темной тенью метнулся вниз, в тьму, в чащу деревьев.

А по палатам уже со всех ног бежали перепуганные сестры, ковыляя, постукивая деревянной ногой, Панаев.

Через полминуты Тамара и Марина Николаевна ввели Соню в дежурку и, поддерживая под руки, усадили на табурет. К счастью, удар пришелся не по голове, а по плечу, на левом рукаве халата проступали пятна крови. Соня плакала, кусая губы и морщась от боли, как ребенок.

— Кто? — настойчиво спрашивал, наклонясь над ней, Панаев. — Кто тебя?

Я с замиранием сердца ждал, что ответит Соня: выдаст ли брата?

— Кто, кто... — сказала она с трудом. — Контрик один.

Панаев побежал к телефону, звонить в Чека.

Но прежде чем оттуда кто-либо явился, во дворе раздались тревожные крики и зарево почти сразу вошло в палату пляшущими багровыми пятнами, поползло, усиливаясь с каждой минутой, по койкам, по лицам, по потолку.

Закричали:

— Горим! Гори-им! Братцы, не бросайте! Как же я без ноги?!

Я вскарабкался на подоконник, встал на колени и распахнул окно. Горел каретный сарай, в стороне от госпиталя, за деревьями, горел сильно и жарко.

Перепуганные сестры метались по палатам, помогая больным. Забыв о боли, Соня тащила из коридора носилки. Но вошел Панаев и с укором сказал:

— Ну чего повскакали? Что за паника?! Горит каретник. А госпиталь каменный — не загорится, — и добавил, почему-то обращаясь к Соне: — Сейчас придет Вандышев.

Оказалось, что из Чека в ту ночь бежало шесть человек. По городу шла облава.

Через десять минут в парке, освещенные красными отсветами пламени, забегали темные фигуры людей. Но задержать никого не удалось.

Поздно ночью, почти уже под утро, запыхавшийся, усталый Вандышев сидел в дежурке и разговаривал с Соней.

— Кто это был? — строго спросил он.

— Анисим.

— Я так и знал. Как же это он промахнулся?

— Данька закричал. Анисим обернулся на голос и ударил мимо.

— Молодец Данька!

Я лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим.

— Убьют они тебя, Сереженька, — сказала Соня с тоской.

— Ну, это поглядим. Меня убить трудно, я живучий. А вот тебе, пожалуй, достанется.

— Он грозился...

— Да-а-а, — вздохнул Вандышев, осторожно закуривая. — Их тут целая шайка.

— Он задумался.

Полузакрыв глаза, я смотрел на его темное, такое дорогое мне лицо. Неожиданно он встал.

— Вот, видно, и придется по-твоему делать. Ну, если бы ты не сказала, что это Анисим, не взял бы. А теперь — едем. Пойду сейчас к главному вашему. Тут тебя заменят. А иначе зазря убьют.

И назавтра Соня вместе с Вандышевым уехала на Польский фронт. Я думал, что больше никогда не увижу ни ее, ни дядю Сергея. Вот, говорил я себе, и еще два хороших человека — мужественный, самоотверженный Вандышев и милая, красивая и добрая Соня — ушли из твоей жизни, ушли, чтобы никогда в нее не вернуться. Но я ошибался, как часто ошибаются люди, думая о будущем: жизнь готовила всем нам еще не одну встречу.

17. „ПИШИ МЕНЯ, СТЕПАНЫЧ!“

Через две недели вышел из госпиталя и я. Попрощался с Легостаевым, с крутолобым солдатиком, пришедшим к тому времени в сознание с другими товарищами по палате.

День был яркий, радостный, в парке звенели и свистели птицы.

Я посидел на освещенной солнцем скамеечке у стены госпиталя, напротив фонтана. Бронзовый мальчишка сжимал пухлыми руками бронзовую рыбу. В каменных трещинах фонтана нежно зеленела трава. Чуть ощутимый теплый ветер перелистывал молодые листочки тополей и лип, шелестел в еще голых зарослях акации и маличника. Узенькие тропинки убегали от крыльца в парк. За темными стволами деревьев призывно голубела вода.

Я нашел палочку и, опираясь на нее, подчиняясь каким-то неясным зовам, пошел в глубь парка. Лег под деревом в прошлогоднюю траву, лицом вниз, и вновь все несчаст- гья, что случилось со мной за последние годы, налетели, опрокинулись на меня, и снова очень остро и горько почувствовал, что я на земле один. Долго лежал так.

Но вот рядом; на тропинке, зашелестели шаги, остановились, и голос санитарки Марины Николаевны удивленно спросил:

— Кто? Даня? — Сильные руки охватили меня, повернули лицом вверх. — Ты что же это, милый мой? Ты же опять насмерть застудишься! Вставай-ка, вставай! Боже ты мой. Да ты бы домой шел, ишь тебя, как былинку, качает.

И опять слезы стиснули мне горло. “Да нет у меня никакого дома! — хотелось мне крикнуть. — Некуда мне идти!”

Но я ничего не сказал. Марина Николаевна под руку проводила меня по мощенной красным кирпичом аллее до самых ворот.

Ее доброе, некрасивое, изрытое морщинами усталое лицо светилось лаской.

— А ты радуйся, — говорила она, чуть шепелявя, — радуйся живой. Мы ведь и не надеялись, что встанешь. Боже мой, сколько глаз я своими руками за эту зиму позакрывает...

У ворот она легонько подтолкнула меня:

— Иди, сынок. — И, кажется, украдкой перекрестила мне спину.

Моста через Калетинский пруд не было, мне пришлось идти мимо кладбища. Я зашел. Могилка Подсолнышки уже покрывалась первой травой. Я посидел возле, на- рвал горстку желтых ромашек, положил на холмик. “Прощай, Подсолнышка, так и не довелось тебе хорошо пожить, не довелось перед смертью досыта поесть”. Нет, я,

кажется, тогда уже не умел плакать, не умел жаловаться. Глаза у меня были сухие, но в груди было так тяжело, словно там лежал камень.

Я пошел дальше — в город, в уком.

Но дойти до укома мне сразу не пришлось. Выйдя из кладбищенских чугунных ворот, в которые были вделаны две овальные иконы с темными, почти неразличимыми лицами, я услышал вдали медный грохот оркестра, торжественный и в то же время веселый шум толпы, похожий на гул морского прибоя. А через несколько минут порыв ветра донес до меня знакомые слова о вихрях враждебных и роковом бое.

Оглядевшись, я увидел на воротах и крышах домов самодельные красные флаги — некоторые из них были просто лоскутами разорванной красной рубашки или юбки; заметил чистую, праздничную одежду перегонявших меня людей, у многих на груди красовались красные банты. И только тогда я вдруг вспомнил: сегодня же Первое мая! И как я мог позабыть — ведь и в госпитале с нетерпением ждали наступления этого дня и готовились к его встрече.

И снова теплой, поднимающей и в то же время печальной волной нахлынули воспоминания. В прошлом году, в день 7-го ноября, мы все еще были вместе: мама, Подсолнышка и я. Мама и в будние дни нередко заходила тайком ото всех на площадь Павших борцов постоять возле могилы отца, а в тот день, когда на площади проводился митинг, посвященный второй годовщине революции, принесла туда горшочек с живой геранью, которую вырастила Подсолнышка.

Я понимал, что, несмотря на фантастическую религиозность, мама испытывала горькую радость оттого, что память об отце берегут в городе, что в дни годовщины революции на братскую могилу всегда приносят огромный венок из зеленых сосновых веток, оплетенных кумачовыми лентами: "Вечная память вам, борцы за свободу". Это радовало и меня, хотя, помню, мне всегда было грустно и неприятно смотреть, как потом этот венок моют непрерывные холодные дожди, как, еще позже, заваливает его снег. Для меня это было такое тягелое зрелище, что в 1919-м, в конце ноября, когда венок уже порядочно потрепали осенние ветры, я взял его и принес домой. Мама повесила венок под иконой в переднем углу. Я спорил с ней, говорил, что не надо вешать венок рядом с иконами, но мама ничего не хотела слушать.

Эти дни врезались мне в память не только тем, что в это время особенно больно вспоминалось об отце, а еще и тем радостным, торжественным настроением, которое приподнимало над землей и куда-то, против моей воли, неудержимо несло. Заслышав звуки праздничного марша, я всегда с трудом сдерживал подступавшие к горлу слезы радости, грудь распирало сладким и гордым волнением, а губы сами собой выговаривали слова песен, которые звучали тогда — я уже, кажется, говорил об этом — словно слова присяги. И лица людей, окружавших меня в такие дни, были радостными и торжественными, все улыбались и пели, совсем незнакомые люди здоровались, а иногда и обнимались друг с другом, как будто все принятые до этого условия вдруг переставали существовать, как будто наступало на земле подлинное и истинное братство. И все люди на празднике были одеты старательно и чисто, пусть в старенькие, пусть застиранные и залатанные рубахи и кофточки, но во все самое лучшее, что сохранилось у людей после многих лет войны и разрухи.

Я пошел быстрее. Навстречу неслись звуки оркестра, глаза слепила сверкавшая на солнце медь начищенных до золотого блеска оркестровых труб.

Тогда в нашем городке, конечно, не было хорошего оркестра, не было и в помине той праздничной пышности, того яркого, многокрасочного изобилия, которыми отлича-

ются дни первомайских и революционных торжеств в теперешние дни. Но от этого праздники не были менее желанными и менее радостными, недостаток пышности восполнялся полнотой чувств, еще не успевших остыть после недавних побед над врагами революции. А может быть, все было и еще проще: праздники тогда не стали настолько привычными, как теперь, и поэтому волновали сильнее.

Я очень торопился, но слабость качала меня из стороны в сторону, и все люди, спешившие на площадь, шли быстрее меня, обгоняли. Подпрыгивая, бежали босоногие мальчишки, загорелые, оборванные, с усыпанными веснушками лицами. Торжественно, в начищенных медных касках, проехал пожарный обоз. От бывшей богадельни прошел комендантский взвод — вооруженные чем попало паренки и вернувшиеся с войны инвалиды. Мелькнуло одно или два знакомых лица, но я даже не успел узнать их: они мелькали словно в быстро несущемся сне и сразу исчезали, заслонялись другими.

На площади собралось много народа. Здесь были и рабочие — мужчины и женщины, и солдаты — инвалиды войны, и детишки, и крестьяне, приехавшие на базар, несколько подвод обособленной кучкой сгрудилось на краю площади. Все это было ярко освещено солнцем.

В то время в нашем городе на площади и на перекрестках больших улиц стояли огромные пожарные чаны, наполненные водой. По праздникам на одном из таких чанов, накрытом толстыми досками, размещался оркестр.

Так было и в тот день. По краям самодельного помоста, у ног оркестрантов сидели, свесив босые ноги, мальчишки. У братской могилы в почетном карауле стояли два-красноармейца из комендантского взвода — безусый, белобрысый паренек с испуганным лицом, с большими карими, похожими на пятаки глазами и пожилой рыжеватый солдат со шрамом, перечеркивающим весь лоб рваной красной чертой. Между ними, у деревянной пирамидки, заново окрашенной по случаю праздника, зеленели огромный хвойный венок и букетики простеньких полевых цветов.

На одной стороне помоста на дощатой трибуне стояли несколько человек. Я сразу узнал среди них дядю Колю и Александру Васильевну Морозову. Тогда они показались мне самыми родными людьми — злой кулак, все время сжимавший мое сердце, как будто разжался. "Нет, ты не остался на земле один, — сказал я себе, — они еще здесь, рядом с тобой, това-рищи твоего отца!" Дядя Коля стоял ближе других ко мне — я его хорошо видел. Он еще больше похудел и осунулся, вертикальные морщины на щеках стали глубже. Он был скрыт по грудь барьером трибуны, и я подумал, что ему, безногому, пришлось ради этого случая встать на табурет. Морозова, в светлом платочке и белой кофточке, опиралась обеими руками на барьер рядом с дядей Колей.

Мне хотелось быть с ними. Я протискивался вперед, все ближе к трибуне, вслушивался в слова, которые дядя Коля, потрясая кулаком, бросал в толпу. Разговор шел о белополяках, они снова поднялись на нашу молодую республику войной. Дядя Коля призывал тех, кто не обязан идти на фронт по мобилизации, но способен носить оружие, тут же, на митинге, записываться в добровольческий отряд, который сегодня уезжает на запад.

Я все видел и слышал сквозь пелену тумана, у меня кружилась голова, тошнило, подгибались ноги. Несколько раз я с тоской вспоминал о своей госпитальной койке — с какой радостью я лег бы сейчас на нее и уснул. Но вдруг один маленький эпизод как бы разбудил меня, вернул из полусонного состояния к реальной жизни, к тому, что происходило на площади.

В стороне от меня на крестьянских телегах — во многие из них были впряжены коровы — хмуρο сидели приехавшие на базар мужики. С недоверием и недоброжела-

тельностью слушали они то, что говорилось с трибуны. И когда дядя Коля замолчал, еще раз повторив, что все, кому дорога советская власть и кто способен носить оружие, должен тут же записаться в добровольческий отряд, один из этих мужиков, представительный, властный, в рваной, расстегнутой на груди рубашке, встал в телеге на колени и, вздернув широкую, лопатой, бороду, громко крикнул:

— Эй, ты! Милай! Наши-то сыны давно на фронтах свои головы положили. А ты сам-от што жа? Ты ба и шел, ежели надо? А?!

На площади стало так тихо, что я отчетливо слышал, как в церковном садике чирикали воробы.

Дядя Коля ответил не сразу. С побледневшим лицом он всматривался в бородатого старика. А тот, бесстрашно выставив вперед сивую, с золотым отливом бороду, ждал. Глаза его горели веселым и злым огнем. Оглянувшись по сторонам, он продолжал:

— Я к чему говорю, граждане. Ведь ежели она кому родная, советская-то власть, тот первый и должен иттить. Так я полагаю? А он что жа, сам нас на войну, значится, загоняет, а сам в кусты? Этак-то, видит бог, негоже!

Видимо, старик не знал, что у дяди Коли нет ног. С трепетом я ждал, что дядя Коля ответит.

Постояв несколько мгновений молча, дядя Коля стал продвигаться к краю трибуны, перебирая руками по барьеру. Я не понимал, как он двигается — ведь он безногий. И вдруг дядя Коля вышел из-за барьера на помост рядом с оркестром. И я закричал от удивления и радости: у него были ноги! Правда, стоял он на них неуверенно и, на миг отпустив край барьера, сразу снова схватился за него рукой. Со странным, напряженным выражением он огляделся кругом, словно отыскивая что-то необходимое. Вся толпа на площади молчала и ждала. Оглянувшись на оркестр, дядя Коля молча протянул барабанщику руку и пошевелил пальцами. Барабанщик, недоумеваемая, протянул ему свою колотушку, которой он во время игры оркестра колотил по барабану. Дядя Коля взял эту толстую палку с круглым набалдашником на конце и теперь уже с ненавистью поглядел на все еще ожидавшего ответа бородатого мужика.

— Эй ты, кулацкий последыш! Обрадовался, что белые опять зашевелились? Агитировать начал?! — крикнул дядя Коля, подняв руку с колотушкой.

— Гляди сюда, волчья твоя кровь! — И он изо всех сил ударил себя палкой сначала по одной, потом по другой ноге. Жесткий металлический звон пролетел над площадью. — Гляди! — И, бросив назад колотушку — барабанщик поймал ее на лету, — дядя Коля судорожным рывком подтянул штанины на обеих ногах — под ними остро блеснул на солнце белый металл и красное дерево новых протезов. — Гляди! Я уже полжизни оставил там, куда сейчас зову трудящихся людей. Не тебя зову, живоглот! У тебя, подика, несколько хлебных ям позарыто, и сюда ты приехал с рабочего народа шкуру драть, хотя и надел рваную рубашку! А мои медали вот они! — Он неуклюже взмахнул правой ногой и вдруг покочнулся и стал валиться на бок. И если бы его не подхватили под руки и не сунули ему в руки новенький, еще не затертый руками костыль, он, наверно, упал бы с помоста. И сразу многоголосый гвалт поднялся на площади. Рабочие, которые стояли близко к подводу бородатого, с таким гневом кинулись к нему, что он, нахлобучив шапку, торопливо сел, растерянно бормоча:

— Так я што жа, я ничего, я ведь и не знал, истинный бог, не знал! — И принялся наплевывать свою лошаденку кнутом, выбираясь из толпы.

А возле трибуны уже звучали требовательные голоса:

— Пиши меня, Николай Степаныч!

- Меня пиши, Вагин!
- Душить эту контру надо, вот что!
- Опять хвост подняли...
- Услышали: беляки под самым Киевом!
- Пиши меня, Степаныч!

Когда я протискивался к трибуне, дядя Коля сидел на опрокинутом ящике и странно, напряженно улыбался. Рядом с ним в кепке с пуговкой, остроносенький паренек записывал тех, кто хотел идти на фронт.

К нему подходили старики, которым давно перевалило за полвека, и совсем молодые ребята, почти мальчишки. Подошел безрукий — рукав шинели прижат к боку солдатским ремнем.

— А я их и одной рукой душить буду, гадов. Пиши, говорю!

Его записали.

— Запиши меня, — сказал я пареньку, когда подошла моя очередь.

И тут дядя Коля узнал меня.

— Данилка! Когда ты?

— Нынче.

Паренек со списком, глядя на меня, ждал.

— Пиши дальше, — кивнул ему дядя Коля. — Этот только что из госпиталя. Поправка требуется. Садись, Дань...

Я присел рядом с ним на край ящика. И вдруг ощутил на своем лице чей-то пристальный взгляд, острый, недобрый. Глянув в толпу, я за плечами стоявших поблизости разглядел сморщенное личико Кичигина. Он смотрел на меня с такой ненавистью, что мне стало холодно. И мне с непередаваемой отчетливостью припомнилась сцена, когда хоронили отца. После похорон мы с мамой шли с площади Павших борцов, потрясенные свалившимся на нас несчастьем. А впереди подпрыгивающей походкой шел какой-то старичок и на мотив веселой игривой песенки пел: "Гробики сосновые... гробики дубовые! Гробики сосновые... гробики дубовые!..." Это и был Кичигин.

Тогда я бросился за ним, хотел догнать, ударить, избить, но он, перепуганный, исчез в чьем-то дворе. Странно, почему-то в госпитале, когда Кичигин приходил к Соне, я ни разу не вспомнил об этом — вероятно, виной тому была болезнь, "отбывшая", как говорят в народе, мне память. А сейчас воспоминание о том случае бросило меня в дрожь, и я рванулся к ненавистному мне человеку.

— Ты что? — удивленно спросил дядя Коля.

— Кичигин, — шепнул я.

— А-а-а... Погоди, дойдут еще у нас руки и до этой сволочи.

Когда я снова взглянул в толпу, Кичигина уже не было.

18. У ДЯДИ КОЛИ

С митинга мы с дядей Колей пошли вместе. Не спрашивая моего согласия, он сказал, что я буду теперь жить у него.

— Конечно. Будешь нам заместо Юры, — подтвердила тетя Настя.

Она присоединилась к нам сразу же после митинга. Пока я ее не видел, она как будто выросла, окрепла, раздалась в плечах. Голова у нее была туго повязана красным платочком, уже выгоревшим от солнца, — такие платочки были в большом ходу в рабочей среде. Тети Настя стала теперь делегаткой, работала в женотделе, налаживала работу каких-то пошивочных мастерских.

Я спросил ее: не было ли писем от Юрки? Она вздохнула, покачала головой:

— Нету, да ведь они нынче не ходят, а ползают, письма-то. Я спросил еще: а как же Юрка с одним глазом воевать будет?

— Я его об том же спрашивала, — усмехнулась тетя Настя. — А он отвечает: "Так даже способнее: когда стрелять — глаз не надо прищуривать". Вот ты и поговори с ним. Да вы все такие!

Мы вместе пошли на чугунолитейный заводик Хохрякова, на котором я когда-то недолго работал, — там в этот день тоже должен был быть митинг.

— А, может, не пойдешь, Николай? — с тревогой спросила Настя, кивая на костыли дяди Коли.

— Надо, мать, — поморщившись, ответил он.

Еще до этого я обратил внимание, что шагал дядя Коля с трудом, неуклюже выбрасывая вперед костыли и тяжело перекидывая свое тело, — видимо, еще не привык к протезам.

— А где же ваша пролетка, дядя Коля? — спросил я.

— В укоме во дворе стоит.

— А что же вы... пешком?

— Жеребцы, милый мой, воевать уехали!

На чугунолитейном было непривычно для глаза чисто и празднично. Раньше здесь везде валялись кучи горелой формовочной земли, окалины, мусора, груды чугунного лома. Теперь все это было старательно прибрано, дорожки посыпаны песком. Старая вывеска над воротами "Хохряков и сын", правда, еще сохранялась, но на ней висело кумачовое полотнище с белыми буквами: "Здесь хозяин пролетариат".

И праздник первой отливки и коротенький митинг, посвященный пуску первого восстановленного в нашем городке промышленного предприятия, оказались очень короткими. Металла заготовили немного, из него отлили только квадратную плиту с надписью: "Да здравствует мировая революция!" И все собравшиеся в торжественном молчании стояли вокруг медленно тускнеющей плиты. Из оранжево-багровой, какой плита была, когда разбили опоку, она постепенно превращалась в темно-вишневую; по ней, как бы постепенно сгущаясь текли закатные краски — именно так темнеет небо в час, когда за горизонтом исчезло солнце. Сначала потемнели глубоко врезаные буквы, потом углы квадратной плиты, словно кто-то невидимый постепенно обламывал их; квадратная плита превращалась в многогранник, потом в круг. А майское солнце весело светило вниз сквозь закопченные стекла потолка, и, по мере того как остывала плита, солнечные лучи становились все сильнее, видимее, ярче.

Потом литейщики поздравляли друг друга с первой отливкой, а дядю Колю с новыми ногами.

— Теперь тебе и износу не будет, Степаныч! — Тебе бы еще и голову такую! А?

И все громко и необидно смеялись, похлопывая дядю Колю по плечам и спине. Потом, уже у выхода, старый литейщик с корявыми, обожженными руками остановил всех. У него было подвижное, сухое лицо, темные, всегда прищуренные глаза — я помнил его еще с тех пор, как работал в литейке. Меня он не узнал,

— А вот чего... — Он встал в воротах цеха, в снопах солнечного света. — А давайте, ребята, отобьем телеграмму Ильичу, а? Чай, ему тоже радостно будет, что мы завод к делу определили... Тоже порадуетса...

Тут же, "по поручению митинга", составили телеграмму, и литейщики гурьбой пошли на вокзал отправлять ее. А я с дядей Колей и тетей Настей — к ним домой.

Жили теперь Вагины на Проломной улице, в небольшом доме, брошенном кем-то — уже не помню кем — из богатеев, недалеко от лавчонки Кичигина. Меня поразила в

просторных, сенах куча сваленной в углу и изрубленной на куски мягкой мебели — торчали блестящие спиральные пружины, багровели лоскутья красного бархата, топырились вверх позолоченные ножки кресел, острыми кусками неба голубели осколки зеркала, похожие на сквозные дырки в полу.

— Что это, дядя Коля? — спросил я.

— А это, видишь, сам не гам и тебе не дам. Перед бегством — видно, чтобы нам с тобой не досталось на этих пружинах качаться, — хозяин из последних сил постарался... И дом подпалил — слава богу, залить успели.

В комнате, где жили Вагины, на двух подоконниках были развешаны для просушки старые бинты и лоскутья одежды тоже, видимо, служившие бинтами. На самом видном месте посреди двух натюрмортов с яблоками и свежей рыбой, висел, небольшой, прибитый гвоздиками портрет Ленина. Обрезанная шинель дяди Коли висела у входа на оленьем рогу. У двери матово поблескивала никелированными шарами кровать.

Как только мы вошли, дядя Коля отбросил костыли и не сел, а прямо повалился на кровать, по лицу у него пробежал; гримаса боли. Но через секунду он уже улыбался.

— Ты меня извини, Данилка, — сказал он. — Никак я с новыми своими ходулями не подружусь. Трут, собаки! Переваливаясь с боку на бок, он стацил с себя штаны — Настя помогала ему, — и я увидел его протезы: коричневая кожа, металлические, белого блеска, планки, ремни. Настя расстегнула пряжки на ремнях, которыми протезы пристегивались к ногам, и с мертвым тяжелым стуком металлические ноги одна за другой упали на пол.

— Ты потише с ними, мать, — усмехаясь, попросил дядя Коля. — Мне на них теперь до самой могилы танцевать!

Культияпки у него были забинтованы, и Настя осторожно размотала бинты и тряпки. Только тогда я понял назначение таких же, сушившихся на подоконниках бинтов.

— Душно им. Да ничего, привыкнут, — сказал дядя Коля. — А то знаешь, Дань, уж очень это обидно — ходить на земле и аккуратно людям в пупы, а то в зады гляделками упираться. Ну, ходить пока трудно. Нынче вот еще бы надо на электростанцию — пускать пробуем...

— Куда тебе! — прикрикнула Настя. — Утром же тебе в Самару ехать! И так душа у меня изболелась: как доедешь

— Ничего, доеду! Чем нить, ты бы покормила лучше нас с Данькой, мать! А?

Пока Настя разогревала обед, я спросил дядю Колю:

— А в Самару зачем?

— Партийная конференция, дорогой. Дальнейшую жизнь нашу определять будем — что к чему... Эх, жалко, батка твой не дожил, вот кому нынче бы делами тут заворачивать! Людей у нас знающих маловато, Дань. Учились-то на медные, на трудовые... а кто получше — каторга да тюрьма заживо съели...

Настя принесла дымящуюся миску супа, от нее тек по всей комнате вкусный, щекощущий аромат.

На праздничный обед у Вагиных был суп с воблой — у этого супа было преимущество: его не надо было солить — и поджаренный на сковородке подсолнечный жмых; сытно и чуть горьковато пахло подсолнечным маслом.

Дядя Коля ел и рассказывал, с каким трудом удалось восстановить разрушенную белыми дизельную электростанцию, — к сожалению, он не мог пойти: "Надо ходули свои к завтраму поберечь".

С той самой минуты, как я увидел дядю Колю, я все порывался спросить его о маме:

как она себя чувствует, когда вернется? Но я боялся задавать ему и тете Насте вопросы: а вдруг услышу в ответ что-нибудь страшное — я ведь очень любил свою мамку, любил и жалел. Странное, нетерпеливое беспокойство овладело мной, я не мог сидеть за столом, не мог есть. Тетя Настя внимательно, с жалостью и нежностью, заглянула мне в глаза:

— Ты про мамку хочешь спросить, Дань?

- Да.

— Никого, говорят, не узнаёт, ничего не понимает... Только молится и молится.

Я взглянул на дядю Колю: насупившись, он смотрел в сторону, в окно.

— А если поехать туда? — спросил я. — Пустят к ней?

Дядя Коля со стуком положил на стол ложку, твердо сказал:

— Не надо... не надо тревожить... Ей так легче... Понимаешь?

Я не удержался, заплакал. Дядя Коля и Настя делали вид, что не замечают моих слез.

Мы почти кончили обед, когда пришел Кичигин. Он вошел неслышно, вошел и остановился у двери, сняв свою зашнурованную, засаленную фуражку и глядя на нас хитрыми, остренькими глазами. В руке у него был самодельный посошок, с которым он теперь никогда не расставался. Неторопливо оглядев нас, он устремил довольный и немного удивленный взгляд на так и оставшиеся лежать у кровати протезы дяди Коли. Осторожно вытянув руку с посошком, потрогал концом палки протезы и с деланным умилением покачал головой:

— Ишь ты, какой добрый струмент тебе по твоей калечности приспособили! Умственная вещь! Теперь тебя, значит, никакими собаками не затравят! А?

Отложив ложку, дядя Коля хмуро смотрел на бывшего лавочника.

— А тебе хотелось бы, гражданин Кичигин? Чтобы затравили? А? То-то бы ты возрадовался!

Секунду помедлив, Кичигин протестующе протянул вперед дрожащую руку с посошком:

— Упаси бог! Упаси бог! Да я что? Разве я зверь животная? Я ведь, Миколай Степаныч, человек божественный. А бог-он как? Он внушает нам: всякая власть есть от бога. Потому подчиняйся ей и смиряй гордыню...

— Ну ладно, гордыня! — отмахнулся дядя Коля.—Зачем пришел, говори!

— А ты на меня не шибко кричи, Миколай Степаныч! — Кичигин с укором покачал головой. — Я, можно сказать, не к тебе пришел. Я к советской власти пришел. Прослышан я про справедливость ее, будто тружеников она не забирает, вот и пришел...

— Труженик! — хмыкнул дядя Коля. — Ну-ну, выкладывай! Чего надо?

— Да ведь дело-то простое, Миколай Степаныч. И как ты есть человек справедливый, не уважить его тебе никак невозможно... Совсем невозможно...

Перекладывая с места на место алюминиевую солдатскую ложку, недобро сведя брови, дядя Коля ждал.

Кичигин, помявшись, продолжал:

— Дело у меня справедливое, Миколай Степаныч... Я так полагаю, ежели бы тут сам Карла Марла был, — Кичигин показал посошком на портрет Ленина, — и он бы...

Дядя Коля в ярости стукнул ложкой по столу:

— Чего надо?!

Кичигин попятился было к порогу, но, глянув на лежавшие у кровати протезы, едва приметно усмехнулся и остановился:

— Паек мне, Миколай Степаныч, отказывают!

— Какой паек?

— А как же?! — искренне удивился Кичигин. — Красноармейским старикам паек советская власть определила? Определила! Вот возьми по нашей, по Проломной ули-

це. У кого сыны в Красной Армии стражают — тут тебе и паек. Третьего дни соль давали... а у которых детские карточки — и муку белую, слышь, давать будут... А? Опять же мыло, хучь оно и собачьего сала, а все одно мыло... на барахолке на крупу выменивают которые! Это как?

— Кичигин замолчал и вопросительно уставился на дядю Колю.

— А за кого же тебе паек? — спросил тот.

— А Сонька! — почти в восторге воскликнул Кичигин. — Моя это дочь? Моя! Кормил я ее? Кормил! Поил? Поил. Воюет она за вас, чтобы вам... То есть воюет. И, промежду прочим, не по милбилизации там какой, а добровольно, своей охотой. Это как? — Он вперил в дядю Колю свои остренькие глазки, казавшиеся теперь наивными и глуповатыми. — Опять же то учесть требуется: кто меня всякой возможности пропитание добывать лишил? Вы и лишили... Так что же я теперь — с голоду погибать без срока без времени должен? Да я самому Ленину на вас жалобу писать буду!..

Кичигин так распалился, что даже посошком в пол пристукнул. Дядя Коля смотрел на него, сжав губы. Если бы у него были ноги, он, наверно, вскочил бы. Но он сидел, только лицо у него медленно наливалось кровью.

— А за Анисима, который коммунистам глаза выкалывал, может быть, тебе, падаль ты этакая, тоже паек требуется? Иди отсюда, пока цел.

Но Кичигин, поглядывая на лежавшие на полу протезы, и не думал уходить.

— Анисим сам собой, я за него, за дурака, не ответчик. И не про него я разговор веду. Я про Соньку спрашиваю. Воюет она за вас? Воюет...

— Так ведь ты же сам, живоглот, ее из дому выжил! Какая она тебе теперь дочь?

— Это дело наше, семейное. А ты мне по справедливости отвечать должен.

Дядя Коля с тоской взглянул на свои протезы.

— Эх! — горько вздохнул он. — Данька, дай ты ему по шее, пожалуйста.

Я встал из-за стола и покачнулся. Кичигин, боязливо посмотрев в сторону Насти, пренебрежительно мотнул головой в мою сторону:

— А этот что же?.. В вышибалы к тебе определился? Вон оно как! И паек ему, значит, положите за это? А?

Настя, встав из-за стола, пошла к Кичигину. Он попятился, выставив вперед посошок.

— А ты постой, бабочка, постой... У меня еще одно дело к твоему комиссару имеется. Первеейшей важности дело, ей-богу.

Настя оглянулась на дядю Колю. Тот с ненавистью всматривался в лицо Кичигина. Однако сдержался, спросил:

— Что еще?

— А я вот насчет торговлишки хотел поговорить... — Голос Кичигина стал ласковым и доверительным. — Ходил я в магазин ваш, смотрел, и вот что я тебе скажу: не умеют ваши молодцы торговать, вовсе не умеют... Я ведь на этом деле всю как есть жизнь, все зубы на нем съел. Вот погляди-ка! — И он, широко раскрыв рот, показал беловатые бескровные десны. — Уж я-то знаю, как торговать требуется! Чтобы торговля, значит, доход давала. Без дохода какая торговля? Один смех! А от такой торговлишки, как у вас ныне, к рукам не больно много пристанет... А я ведь понимаю: и вам пить-есть надо... Вот я и прошу: определи ты меня на торговую должность — не пожалеешь! Весь барыш пополам, ей-богу...

Но тут не вытерпела Настя. Она бросилась к Кичигину, схватила его своими сильными руками за плечи, повернула к себе спиной и коленом ударила его сзади.

— Ах ты, гнида паршивая, ах ты, ворюга беззубая! — Она еще раз ударила Кичигина ногой, и он, пролетев несколько шагов, стукнулся о косяк плечом.

— За што?! — со слезами крикнул он, поворачивая к нам сморщенное лицо. — Я же к вам по-доброму, по-хорошему...

Настя пошла к нему, и, он, испуганно оглядываясь на нее, побежал по коридору.

— Запри за ним дверь! — крикнул дядя Коля. — А то опять явится! — и повернулся ко мне. — Ох, еще долго такие вот живоглоты нас изнутри грызть будут!

Содержание

«Беседы о литературе и не только»... Интервью	3
<i>В. Гордеев</i> «Война, в которой погибла Россия». Очерк	11
Поэтическая переключка:	
<i>Е. Сорри</i>	29
<i>Ю Кононенко</i>	31
<i>Е. Парфенова</i>	33
<i>Н. Высотин</i>	34
<i>В. Манухин</i>	38
Заметки литературоведов:	
<i>А. Надыков</i>	42
<i>В. Домбровский</i>	47
<i>В. Устинов</i> . «В культурной столице ВСЕ должно быть прекрасно». Пolemические заметки	48
<i>В. Зиновьев</i> . «На злобу дня». Гномы	55
<i>А. Рутько</i> . «Пленительная звезда». Повесть. Окончание.	58

